



ЛЕНИНГРАД





СОДЕРЖАНИЕ

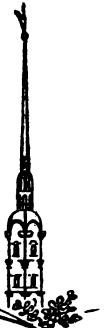
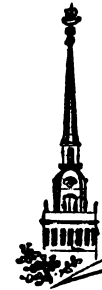
Кандидаты сталинского блока коммунистов и беспартийных. Обращение ко всем избирателям Дзержинского избирательного округа города Ленинграда	1
<i>Василий Лебедев-Кумач</i> . Наш президент (стихи)	2
<i>Александр Чуркин</i> . Поэт-патриот (стихи)	2
<i>Николай Тихонов</i> . Из выступлений <i>В. К. Кетлинской</i> , <i>М. М. Зощенко</i> , <i>Н. Н. Никитина</i>	3
<i>Б. Лихарев</i> . Знаменосец нашего отряда	4
<i>Борис Шмидт</i> . Николаю Тихонову (стихи)	4
<i>Александр Розен</i> . Поэт героического Ленинграда	5
<i>Ольга Форш</i> . Суворов и Павел (отрывок из романа). Рисунки <i>Т. Шишмаревой</i>	6
<i>Мих. Зощенко</i> . Очень приятно. Рисунки <i>Н. Кочергина</i>	8
<i>Вадим Шефнер</i> . Юность. Мрамор (стихи)	12
<i>Анна Ахматова</i> . Стихи разных лет	13
<i>И. Крафт</i> . Ладога (отрывок из романа „Дорога на Ленинград“). Рисунки <i>Н. Кочергина</i>	14
<i>Алексей Половников</i> . Снова (стихи)	16
<i>Илья Сельвинский</i> . Севастополь (стихи)	17
<i>Ф. Быков</i> . Первое поручение	18
<i>Анатолий Чивилхин</i> . Перед прорывом (из поэмы „Битва на Волгове“)	20
<i>Евгений Люфанов</i> . Камни (рассказ)	21
<i>Геннадий Гор</i> . Забытый адрес (рассказ). Рисунок <i>А. Якобсон</i>	22
<i>Елена Катерли</i> . Художник и статуя	25
<i>Ирина Карнаухова</i> . Простой рассказ. Рисунок <i>П. Басманова</i>	26
<i>Николай Браун</i> . Страница стихов	29
<i>Джесси Стюарт</i> . Мой рыженький сын. Перевод с английского <i>М. Коллакчи</i> . Рисунки <i>Т. Шишмаревой</i>	30
<i>Борис Леонтьев</i> . Души статуй. Береза. Русская луна. Родные (стихи)	33
<i>Николай Никитин</i> . А. Дюма и его путешествие в Россию. Рисунки <i>Т. Шишмаревой</i>	34
Народный артист <i>Ю. Юрьев</i> . <i>М. Г. Савина</i>	36
Академик <i>Е. Тарле</i> . Из истории русской дипломатии	40
Проф. <i>В. Спиридонов</i> . „Не могу молчать.“	43
<i>А. Лаурентьева-Кривошеина</i> . Летний дворец Петра I	44
<i>А. Малюгин</i> . Искусство <i>Н. П. Хмелева</i>	45
<i>А. Раскин</i> . <i>К. Д. Ушинский</i>	46
Забавная старина	47
Новые книги: <i>И. Серман</i> . Всеволод Рождественский. Ладога	47
Литературные пародии: <i>Ал. Флит</i> . Елена Катерли. Мой Некрасов. Вера Кетлинская. Голубой маляр. Рисунки <i>Бориса Лео</i>	48

На 1-й странице обложки: Памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала. Рисунок *Н. Павлова*. На 3-й и 4-й страницах обложки: В. Твелькмейер. Памятники героической обороны Ленинграда. На вкладках: И. В. Сталин — портрет *Б. Карпова*. Марсово поле — автолитография *А. Каплана*.

Обложка, заставки, концовки худ. *В. Двориковского*
Художеств.-технич. редактор *Т. Иванова*







Л Е Н И Н Г Р А Д

КАНДИДАТЫ СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

Обращение ко всем избирателям Дзержинского избирательного округа города Ленинграда

Дорогие товарищи!

Близится торжественный и радостный день всенародных выборов в Верховный Совет Советского Союза.

Советский народ на основе Сталинской Конституции 10 февраля 1946 года будет избирать высший орган социалистического государства — Верховный Совет СССР.

Восемь лет назад состоялась первые выборы в Верховный Совет СССР. Эти годы были заполнены величайшими историческими событиями, в Верховный Совет вел нашу страну вперед, умножил военное и экономическое могущество нашей Родины.

В боях с фашистскими извергами наш народ отстоял свою свободу и независимость, отстоял свою советскую демократию, свою родную советскую власть. Источником силы и могущества нашего народа, победившего коварных и сильных врагов, является пламенный патриотизм советских людей, их готовность преодолеть во имя победы любые трудности, принести любые жертвы для блага своей советской Отчизны.

Величайшим счастьем нашего народа является факт, что в годину труднейших испытаний во главе нашей партии и правительства стоял гениальный вождь народа, продолжатель дела Ленина, величайший полководец всех времен и народов Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Имя Сталина названо всем советским народом, как имя первого кандидата в депутаты Верховного Совета СССР.

Трудящиеся Ленинграда единодушно выдвинули своим кандидатом в Совет Национальностей верного сына Родины,

одного из ближайших соратников великого Сталина — Михаила Ивановича КАЛИНИНА.

Имя Михаила Ивановича Калининна близко и дорого каждому советскому человеку.

Работая бесменно на посту главы государства, М. И. Калинин всю свою энергию и организаторский талант отдает строительству социалистического государства рабочих и крестьян, укреплению экономической и военной мощи нашей Родины.

В лице товарища Калининна мы видим крупнейшего руководителя нашей партии и государства. В нем воплотились лучшие качества политического деятеля ленинско-сталинского типа.

Избиратели нашего Округа выдвинули кандидатом в депутаты Совета Союза СССР председателя Союза советских писателей поэта Николая Семеновича ТИХОНОВА.

Верный сын нашей славной Родины, пламенный патриот советской Отчизны, выдающийся советский писатель Николай Семенович Тихонов всю свою жизнь, полную высокого и самоотверженного труда, все свое вдохновенное творчество отдавал и отдает делу беззаветного служения советскому народу, его чести и славе.

Книги Николая Тихонова любимы миллионами советских людей. Его стихи о русских воинах, полные мужественной любви к своим соратникам и согражданам, воспитывали и будут воспитывать многие поколения в духе советского патриотизма.

Тихонов создал вдохновенные поэтические произведения о Ленине, Сталине, Кирове.

Принято на окружном предвыборном совещании представителей трудящихся Дзержинского избирательного округа 18 января 1946 г.

Николай Семенович Тихонов трижды, как воин и как поэт, защищал город Ленина. В 1919 году он оборонял город от банд Юденича, в 1939 году он добровольцем ушел на финский фронт, с первого дня Отечественной войны Тихонов в действующей армии.

Защитники Ленинграда никогда не забудут мужественного и вдохновенного голоса своего славного земляка, Николая Тихонова.

Поэт и летописец Ленинграда, он всему миру поведал о доблести и подвигах, о мужестве и стойкости ленинградцев, первыми остановивших гитлеровские полчища и после 900 дней беспримерной борьбы отбросивших и разгромивших врага.

Передовой представитель советской интеллигенции, поэт и солдат Ленинграда, общественный деятель ленинско-сталинской эпохи, поэт Николай Тихонов достоин быть избранным в депутаты Верховного органа Советской власти.

Мы, участники предвыборного совещания, обращаемся ко всем избирателям Дзержинского избирательного округа с горячим призывом: отдать свой голос за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных — Михаила Ивановича КАЛИНИНА и Николая Семеновича ТИХОНОВА.

Пусть день выборов в Верховный Совет станет днем великого праздника единения трудящихся вокруг победоносного знамени Ленина—Сталина.

Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия большевиков — вдохновитель и организатор наших побед!

Да здравствует великий вождь советского народа и большевистской партии — создатель самой демократической в мире конституции — родной и любимый товарищ СТАЛИН!



Василий Лебедев-Кумач

Наш президент

С великим почтеньем, с любовью —
не иначе,
С каким-то особенным нежным
теплом
Советский народ говорит
о Калиныче,
О старосте добром и строгом
своем.

В нем каждый находит родное
и близкое —
Колхозник, рабочий, боец и
студент,
Для каждого слово припас
большевистское —
Простое и мудрое — наш президент.

Он видел Россию в дыму и
в развалинах,
Заняв президентское место свое,
А нынче — соратник великого
Сталина —
Могучей державой он видит ее.

Калинину многим обязана Родина,
Он наших людей и растил и берег,
Народом и партией с ним было
пройдено
Не мало победных и славных дорог,

Семян большевизма искуснейший
сеятель,
По-ленински скромный, понятный,
родной,
Политик, мудрец, государственный
деятель —
Всей жизнью он связан с любимой
страной.

С великим почтеньем, с любовью —
не иначе,
С каким-то особенным, нежным
теплом
Советский народ говорит о
Калиныче —
О старосте мудром и славном
своем.

Александр Чуркин

Поэт-патриот

С полей, грозой опаленных,
С военной строгой душой
Он шел прямой и непреклонный
По нашей Родине большой.

Еще не сняв шинели пыльной,
Как полагается бойцам,
Он неожиданно и сильно
Прошел стихами по сердцам.

В них меди звон и отблеск стали
И трезвой удали размах,
Мы их в дивизиях читали
И на военных кораблях.

Они за обшлагом шинели
С конспектами теснились в ряд,
Тогда в ушах у всех гремели
Двенадцать огненных баллад.

В дни испытаний и тревоги
Врагов он метким словом бил.
Такой же вдумчивый и строгий
Передним краем проходил.

В час битвы яростной с врагами
За Ленинград любимый свой
Он пел о том, что Киров с нами,
Что с нами Сталин наш родной.

И неустанно, ежедневно,
По вечерам и по утрам
Звучал поэта голос гневный
По ленинградским рупорам.

В те злые месяцы и годы
Направив на врага удар,
Родному русскому народу
Он нес свой благородный дар.

Идет он, твердый и спокойный,
И творчеством и жизнью всей,
Всем сердцем преданный,
Достойный
Великой Родины своей.

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

Из выступления В. К. Кетлинской

Товарищи! От имени группы писателей я предлагаю выдвинуть нашим кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР по Дзержинскому избирательному округу славного ленинградского поэта, воина и гражданина — Николая Семеновича Тихонова.

Мы все давно знаем, любим и ценим Николая Семеновича, и в нашей аудитории вряд ли нужно доказывать, какая это хорошая и достойная кандидатура. Но наша задача — добиться, чтобы нашего кандидата поддержали другие организации и все избиратели округа, и поэтому я хочу обосновать наше предложение, несмотря на горячую поддержку, которую вы ему оказали.

Н. С. Тихонов является одним из крупнейших и популярнейших русских поэтов и передовым, руководящим деятелем советской культуры.

Поэзия Николая Тихонова неразрывно связана с Октябрьской революцией, с борьбой советского народа за свою свободу и свою советскую власть, связана с битвами и трудами народа, с героикой Красной Армии.

Некоторые строки Тихонова, написанные два десятка лет назад, казались нам в дни войны и блокады написанными сегодня:

И мертвые прежде, чем упасть,
Делают шаг вперед.

Или:

Когда тысячи крикнули слово:
отдай! —
Урагана сильней оно!

Поэзию Тихонова всегда отличали высокая гражданственность и глубокое понимание всей сложности мировых событий, острого столкновения классовых сил, неизбежности решающей схватки молодого социалистического общества с черными силами реакции, с фашизмом.

И Тихонов готовился к этой схватке как поэт, как воин, как гражданин. В одном стихотворении 1940 года по поводу немецких бомбардировок Лондона он писал:

Мы свой урок еще на партах учим,
Но снится нам экзамен по ночам.

Да, экзамен Отечественной войны снискал поэту и заставлял его готовиться к испытанию и неустанно готовить к нему своих читателей.

Тема борьбы, мужества, любви к Родине, боевой готовности проходит через все творчество Тихонова.

Он вошел в жизнь воином и навсегда остался воином своей Родины, воинствующим поэтом революции.

С первого до последнего дня ленин-

Предвыборное собрание ленинградских писателей

градской обороны голос Тихонова был голосом ленинградских патриотов. В стихах, рассказах и очерках, в пламенных статьях Тихонов служил своему народу и вел его в бой, разоблачал душителей Ленинграда и воспевал героизм его защитников.

Нельзя себе представить Тихонова без Ленинграда. Он врос в историю города, как его верный сын, как его певец, как выразитель его духа, его традиций, его большевистской непреложности и верности.

Всем своим творческим обликом, умом и сердцем своим, Тихонов — ленинградец, и он будет достойным представителем Ленинграда в Верховном Совете СССР.

Тихонов прошел хорошую депутатскую школу, будучи много лет депутатом Ленинградского Совета, и сейчас он придет в Верховный Совет как зрелый государственный деятель.

И, наконец, есть еще одно качество у человека Тихонова, о котором важно упомянуть: это его живой неугасимый интерес к людям, его сердечная доброта и отзывчивость, его внимание к человеческой судьбе.

Можно быть уверенным, что депутат Тихонов будет чутко относиться ко всем запросам своих избирателей и относиться к своим обязанностям со свойственной ему добросовестностью и неисчерпаемым трудолюбием.

Таков облик этого большого человека. И мы не сомневаемся, что не только писатели Ленинграда, но и все избиратели нашего Дзержинского округа охотно поддержат кандидатуру настоящего непартийного большевика, истинного ленинградца — поэта, воина и гражданина — Николая Семеновича Тихонова.

Из выступления М. М. Зощенко

Очень правильно, что именно наша ленинградская писательская организация назвала имя Тихонова. Имя Тихонова, больше чем какое-либо другое писательское имя, связано с Ленинградом, с годами блокады, годами войны.

Связь Тихонова с Ленинградом глубоко органична и имела очень глубокий смысл. Эта связь возникла не потому, что Тихонов жил в Ленинграде. Ведь писательская судьба определяется прежде всего его работой, его книгами, — и вот у Николая Семеновича есть книга — это сборник его публицистических работ, его фельетонов, которые он написал в годы блокады. Это железная книга, мужественная, необычайно силь-

ная книга. Эта книга — пример того, когда писательское чувство, писательское стремление полностью совпало с чувствами и стремлениями народа к победе. Вот на чем основана глубокая связь Тихонова с Ленинградом.

Мы, ленинградцы, хорошо знаем Тихонова, любим его. Лично я знаю его 25 лет, т. е. четверть столетия, — это человек огромного обаяния.

Очень радостно знать, что наша организация выдвигает Н. С. Тихонова кандидатом в депутаты Верховного Совета. Тихонов большой человек и замечательный человек, очень умный, очень любящий свой народ и литературу. Я с радостью поддерживаю его кандидатуру и предлагаю вам сделать то же.

Из выступления Н. Н. Никитина

Так же, как М. М. Зощенко, мне, говоря о Николае Семеновиче Тихонове, приходится говорить, в сущности о четверти века.

Это огромный этап человеческой жизни. Когда Н. С. Тихонов пришел с гражданской войны, он поразила всех нас своей внутренней праздничностью, которая была не только в его стихах, но и в его поведении — воинствующий, веселый, трудолюбивый. Эти основные черты сохранились и дальше, сохранились во все годы его жизни.

Вспоминая некоторые эпизоды из жизни Николая Семеновича, я чувствую, как он был близок к большим общественным переживаниям, как он чувствовал историческую перспективу. Этот человек жил одной большой мыслью, единым настроением с народом.

Он всегда шел очень трудным путем, трудным путем он шел и в литературе. Он всегда ставил перед собой большие задачи и разрешал их, как большой человек и большой художник.

Я хочу вспомнить строчки, которые он написал не сейчас и не в годы войны, а 25 лет назад, это, в сущности, эпиграф ко всей его жизни, к его характеру, к его устремлениям. Это стихотворение написано в 1922 году. Оно как бы отвечает на вопрос: зачем мы живем, за что трудимся, за что боремся?

Затем, чтоб жизни сжигая великую муть,
Сметая работою плесень,
Могли мы огромною грудью вздохнуть,
Простор за просторами взвесить,
Чтоб жить, не бархатясь на мели...

Вот за советский простор, за советскую жизнь он отдает всего себя целиком.

Мы с радостью выдвигаем нашего друга, нашего прекрасного поэта в депутаты верховного органа нашей Родины!



ЗНАМЕНОСЕЦ НАШЕГО ОТРЯДА

Сегодняшнее взволнованное собрание мы посвящаем большому событию. Мы хотим наметить сегодня кандидата в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР, в наш высший государственный орган. С чувством глубокой ответственности обсуждаем мы поставленный перед нами вопрос и, отвечая не него, единодушно называем имя Николая Семеновича Тихонова. Это наш кандидат. И мы надеемся, что нас поддержат ленинградцы, трудящиеся Дзержинского избирательного округа.

Николая Тихонова знаем не только мы, его знает вся наша страна, его имя знает все читающее, прогрессивное человечество. Творчество Тихонова елила на формирование сознания нескольких поколений читателей. Его прекрасные «Двенадцать баллад» остались в памяти на всю жизнь. Нельзя забыть ни его «Перекопа», ни «Синего пакета», не забыть «Сами» — прекрасные стихи о Ленине и индусском мальчике.

Совсем молодым Тихонов оказался солдатом в дни войны 1914 года. Он пошел на войну добровольцем, был конником, гусаром. Тихонов был защитником Красного Питера от Юденича. Общение с народом, общение с воинами дало ему ту силу, которая открыла тихоновские стихи. Он был и остается учителем ленинградской литературы, ленинградской поэзии. Пожалуй, нет в Ленинграде поэта, который не посещал бы квартиру Тихонова на седьмом этаже большого углового дома Петроградской стороны.

Просто и естественно сложилась тихоновская жизнь. Она неотделима от того, что написано им. Если раскрыть тихоновские книги, то, читая, убеждаешься, что все сказанное им подтверждается автобиографическими фактами. Его стихи читаются, как огромный творческий дневник, в котором жизнь и слово неотделимы. Это школа, в которой он учил нас на своем примере. И многие ленинградские поэты и писатели старались ему следовать.

Тихонов много путешествовал, много знакомился с людьми. Он породнил две литературы — русскую и грузинскую, — своими блестящими переводами грузинских поэтов. Кавказ он знает не хуже, а наверное лучше многих горцев. Он был в Средней Азии и воспел ее природу и людей, простых и мужественных. Всегда деятельный, всегда полный планов и замыслов, он неизменно создает вокруг себя атмосферу радостного, творческого подъема.

Большая общественная деятельность Тихонова хорошо известна ленинград-

В. Лихарев

(Из выступления на предвыборном собрании ленинградских писателей)

дам. Николай Семенович был одним из редакторов журнала «Звезда», был первым председателем Ленинградского отделения Союза писателей и первым после Горького избран председателем Всесоюзного нашего правления. Он депутат Ленинградского Совета, и трудящиеся Ленинграда хорошо знают его плодотворную депутатскую деятельность.

Целая полоса его жизни связана с антифашистской борьбой. Тихонов был делегатом от СССР на антифашистском конгрессе в Париже. Когда он вернулся с конгресса, то в течение двух месяцев написал блестящую книгу стихов «Тень друга». Эта книга была полна предчувствия неминуемой войны.

Не для того шахтеры старых шахт
Земли английской приносили клятву,
Не для того в испанских шалемах
Был дьявол под рубищем запратай,
Не для того всех казематов строй,
Пытал людей Германии во ирак,
Не для того в Астурии герой
Так умирал, как умирает факей.

Н. С. Тихонова, поэта с мировым именем, государственного деятеля ленинско-сталинского склада — воспитал Ленинград, воспитала Родина.

Настала финская война, и Тихонов вновь добровольцем отправился на фронт. Он участвовал во всех сложнейших операциях большой и суровой зимы 1939—40 годов. Его видели в окопах под Хотиненом, под Суммой, при форсировании реки Тайполеин-Юокки, при взятии Выборга: Военная газета «На страже Родины» справедливо гордилась своим сотрудником Тихоновым. Он участвовал в отделе «Прямой наводкой», в отделе «Беседы у костра». Я сам участник той войны и хорошо помню, с каким вниманием читались тихоновские произведения в Действующей армии. Их ждали полковые агитаторы и книгоноши, их ждали бойцы, как самое дорогое и главное, что может принести им газета.

Прошла финская война. Тихонов хотел продолжать свою работу в области кинематографии. До этого им был написан сценарий замечательной кинокартины «Друзья». В этой кинокартине Тихоновым был создан образ молодого Кирова на Кавказе. Но настало 22 июня 1941 года. Настала Великая Оте-

ственная война. Тихонов готовился к ней. В одном из своих стихотворений он писал:

Мы свой урок еще на партах учим,
Но снится нам экзамен по ночам.

Особенного блеска тихоновское творчество достигло в эти годы величайших народных испытаний. Он стал солдатом Ленинграда, певцом и рыцарем Ленинграда. Цвета медальной ленты защитника нашего города — это его рыцарские цвета. Если бы собрать все написанное Тихоновым за блокадное время, то для такой выставки нехватало бы стен этих комнат. Рабочий стол его в то время был похож на штабной стол, все было расчерчено цветными карандашами, как на оперативной карте. Утром он пишет для газеты «Правда», в 2 часа дня — для дивизионной газеты, и пишет с тем же мастерством, тщательностью; вечером — выступление в оледенелой Филармонии. На фронте любят эпитет «безотказный» — безотказная пушка, безотказный танк. Боевые товарищи прозвали Тихонова «безотказным писателем». Для своего народа он не жалел ничего — ни времени, ни сил.

Ежедневно он шел 16 километров пешком от Зверинской, 2 до Смольного и обратно. Он пожелтел от голода и стужи. 2° в квартире считалось нормальной температурой. Бурка — вместо одеяла. 900 дней жизни, как в окопах. В 139-й комнате в Смольном, тоже холодной, а иногда и темной, ждал его ежедневный труд, равный подвигу. Листовки, воззвания, плакаты, радиоречь. 30—35 статей в месяц, кроме стихов, кроме поэмы «Киров с нами», за которую Тихонов удостоен лауреата Сталинской премии:

В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
И сердце прегорлое радо,
Что так непреклонен народ,
Что крепки советские люди
На страже родимой земли.

Эти стихи написаны Тихоновым зимой 1941—42 года.

Мы горячо надеемся, что тихоновскую кандидатуру поддержит народ, любящий своего поэта. За него проголосуют армия и трудящиеся Ленинграда, о подвигах и доблести которых всему миру поведал Тихонов в своей книге-летописи незабываемых событий «Ленинградский год».

Трижды, как воин, защищал он честь и жизнь Ленинграда, и ленинградцы гордятся своим земляком.

Тихонов — знаменосец нашего сатальского отряда!

*Борис
Шмидт*

Николаю Тихонову

Много всяких вымыслов чудесных
Всем на радость добывали вы
В тех ночах — светлейших
и железных —
На гранитных берегах Невы.

Там, где мы еще учениками
К вам, уже сидящему, шли
На Зверинскую, где каждый камень
Улыбался в золотой пыли,
Вы учили нас жестокой правде,
Говоря о нашем ремесле,
Чтоб душой не покривили завтра
В самой страшной битве на земле.
Мы вас помним в белых и в
железных,
Нестерпимо ледяных ночах,
Как зима, седым, простым и
честным,

С беспокойным пламенем в очах,
С тем неукротимым, настоящим
Пламенем, которым жив поэт,
Странствующий,
В поисках творящий,
На одном с народом говорящий
Языке — в годину лютых бед,
За народов Сталинское братство,
Отстоявших честь свою штыком,
За певца,
Солдата,
Ленинградца —
Голосую сердцем и стихом!

ПОЭТ ГЕРОИЧЕСКОГО ЛЕНИНГРАДА

Александр Розен

В апреле 1942 года мне довелось познакомиться с одним из партизан Ленинградской области. Он рассказывал, что долгое время у партизан не было никакой связи с Ленинградом, а немцы в сентябре сорок первого года заявили, что Ленинград ими взят.

— Мы никогда этому не верили, — рассказывал партизан. — Но нам нужно было показать всем колхозникам, что немцы лгут. Кое-как наладил радиоприемник. В глухой сентябрьский вечер в язве одного колхозника собралось человек десять. Я стал крутить радио, и мы услышали негромкий голос:

«У ворот нашего великого города день и ночь идет ожесточенная борьба. Но нельзя победить непобедимого, нельзя покорить непокорного, нельзя запугать бесстрашного. Дорого заплатит враг за свои попытки напасть на наш город, на колыбель нашей славы и свободы.»

После этого другой голос сказал: «Вы слушали выступление писателя Николая Тихонова».

Я ждал, что по радио скажут — «говорит Ленинград». Но, как на грех, радио молчало, а долго задерживаться мы не могли. Тогда вдруг хозяин — седой старик — Игнатий Нестеров встает и говорит:

— Если живой Тихонов по радио выступает, значит, цел Ленинград. Мы так это понимаем и всем об этом скажем. Вот как нам удалось впервые услышать голос родного города...

Вместе с голосом наших пушек, вместе с голосом кронштадтских фортов — голосом Ленинграда был голос ленинградского писателя Тихонова.

Голосом Ленинграда — всегда чистым, свободолобивым, мужественным говорил Тихонов с фронтом. Я никогда не забуду, как перед боем комиссар Галстян раздавал политработникам экземпляры газеты с отчеркнутой в ней статьей Тихонова.

— Вот почитайте бойцам, что пишет писатель, — сказал Галстян.

Вот, что писал Тихонов: «Сама жизнь за нас! Небо с клекотом яших стальных соколов — за нас, пушки и танки, рвущие и топчашие врага на подступах к нашему городу — за нас! За нас каждый камень нашего великого города!»

Многим бойцам Тихонов был лично знаком. Наводчик Тимохин запомнил резкую тихоновскую фигуру еще в финскую кампанию. Тимохин тогда сутки стрелял прямой наводкой по белофиннам, а Тихонов был с ним рядом и потом написал о нем очерк.

В кармане гимнастерки убитого в Колпино наводчика Тимохина бойцы нашли небольшой клочок бумаги: «Спасибо вам, товарищ Тихонов, за ваши правдивые и красивые слова».

Только писатель, кровно связанный с народом и его армией, мог работать так блестяще, как работал Тихонов в зиму беспримерных трудностей и лишений. «В темноте ночи, в гуще мрака темнеют высокие стены, — писал Тихонов. — Ни огонька, ни движения. У широких ворот часовые. Что это —

форты, редуты, доты? Да, это — форты, доты, ленинградские заводы. Войдите в них, и, хоть будет это ночью или днем, работа их неустанна в эпически методична».

Одним из таких фортов, где работа никогда не угасала, была военная квартира Тихонова в Ленинграде.

Только живущий интересами своего народа писатель мог так глубоко и правдиво рассказать о переживаниях простых ленинградских людей — шпильницы Булышевой, оружейника Александра, монтера Анисимова.

И, быть может, эти люди послужили Тихонову магическим кристаллом, сквозь который он увидел гигантский и бессмертный образ своего героя — Сергея Мироновича Кирова.

Для всех тихоновских читателей поэма «Киров с нами» была великолепным поэтическим выражением ленинградской суровой действительности. Для ленинградцев тихоновская поэма была еще и духовной поддержкой. Поэт говорил с согражданами о самом главном — о несокрушимой воле к победе.

В январе 1942 года в один из ленинградских детских домов пришла с фронта группа командиров. Они привезли детям незамысловатые подарки — елку и немного конфет. После чая дети читали тихоновские стихи. Двенадцать детей, взявшись за руки, стали в круг, и в нетопленной комнате я видел двенадцать маленьких облачков пара. Дети читали:

Разбиты дома и ограды,
Зияет разрушенный свод.
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
Боец справедливый и грозный,
По городу тихо идет.

Надо было видеть выражение лиц командиров! Об одном из них, капитане Стройлове, впоследствии написал Николай Тихонов, как о герое прорыва блокады Ленинграда.

Всем известна книга Николая Тихонова «Ленинградский год». Из месяца в месяц писал Тихонов о Ленинграде и о ленинградцах. Имена наших героев и их подвиги становились известны всей стране. Ленинградцы гордились этой величественной и правдивой летописью и привыкли к ней.

В завкоме спорили, стоит ли написать Тихонову о том, что тяжелые танки отремонтированы на десять дней раньше срока — нужен ли ему этот факт, чтобы написать о Ленинграде в июле?

Старая учительница звонит Тихонову по телефону. Подходит жена. Учительница извиняется за беспокойство, но просит передать поэту, что школа ее жива, что дети учатся и что убежище, в котором происходят занятия, оборудовано хорошо.

Звонят из гостиницы, отремонтированной после первой военной зимы. Просят приехать Тихонова и посмотреть ее.

Директор театра морщит лоб: сегодня на улице воздушной волной был контужен артист театра. Едва оправившись, он поспешил на репетицию — надо ли рассказать это Тихонову?

Два малыша-ремесленника поднимаются по лестнице на шестой этаж к Тихонову. Но, добравшись до тихоновской квартиры, они вдрут робеют и бросают письмо в почтовый ящик. В письме было написано: «Дорогой Николай Семенович. Наше ремесленное училище своими силами выпустило для фронта шесть станковых пулеметов. Пишем для Вашего рассказа «Ленинград в сентябре»».

Корреспонденция Тихонова была в эти дни громадной. Она была столь велика, сколь велики были интересы поэта.

Поистине, редко такое содружество писателя со своими героями, которого добился Тихонов вдохновенным трудом. Редкостное и радостное содружество.

Неутомимый певец Ленинграда — Тихонов не только воспел прекрасный город и его мужественных защитников. Прекрасными словами он выразил любовь ленинградцев к своей великой Родине и постоянную заботу о ней.

Бойцы рассказывали мне, как прошлой осенью один из красноармейцев, осетин, по фамилии Коцоев, постоянно таскал с собой какую-то газетную вырезку. Как только выпадало свободное время, он вынимал ее из кармана, заносил что-то в тетрадку и снова прятал эту газетную вырезку.

— Что ты делаешь? — спросили его товарищи

— Я пишу письмо домой, — отвечал Коцоев. — Оно выходит длинным, поэтому что я кончу, чтобы моя семья прочла вот эту статью. Статья длинная. Я вырезаю ее по частям.

Статья эта называлась «Слава Кавказа» и написана была Николаем Тихоновым, а красноармеец-осетин хотел, чтобы его семья знала мысли ленинградцев, выраженные в этой статье: «Гордый человек гор не будет слугой фашистской обезьяны!»

«Ленинград с вами, дорогие братья» — называлась следующая статья Тихонова, обращенная к защитникам Сталинграда.

Зимой 1944 года Тихонов был избран председателем Союза советских писателей. Он стал жить в Москве. Но ни одна из тысяч ленинградских связей поэта не прервалась за это время. Образы ленинградцев, образ города-героя, совершившего великий подвиг, продолжает осенять творчество Николая Тихонова.

Есть у Тихонова рассказ, который называется «Яблоня» — рассказ о судьбе художника в дни войны. Герой рассказа во время воздушного налета размышляет о своей жизни трудной, сложной, мучительной. После налета художник выходит на улицу.

«Он оглянулся и увидел город, залитый фиолетовой коловской луной. Прекрасный город вставал вокруг него, в неизмеримой, неповторимой красоте. Этот город надо защищать до последнего вздоха, до последней капли крови, надо отбросить от его стен врага, надо истребить его без остатка!»

В этом заключается смысл не только рассказа, но и смысла всей жизни и творчества Тихонова в дни великих испытаний.

СУВОРОВ И ПАВЕЛ I

Денщик Прохор, вдруг отрезавший после обеденной выпивки, при виде лихой фельдгегерской тройки, свернувшей к дому Суворова, ворвался к нему в комнату без доклада и испуганно прошептал:

— Фельдгегер жалуется...

Суворов сильно побледнел, забилось сердце, а в голове пронеслось:

«Дождался».

— Открыть ворота! — приказал он.

И, не забыв заложить закладку, вышитую крестиком дочкой Наташей, на оборванном чтении любимой книги о деяниях Петра Великого, он прошел к теплой печке и стал прямо, словно во фронт, прислонясь спиной к расписным изразцам.

Суворов недавно послал государю просьбу о разрешении ему идти в монастырь. Он был измучен вынужденным бездействием ссылки, тоской и обидой на Павла, которому не мог помешать калечить на прусский образец любимое войско.

— Каждый солдат мне дороже себя, — говорил, не скрываясь, Суворов, — а у нас он подчинен ныне прихотям и тиранству. За солдата я кого угодно себе воздвигну врагом!

И воздвиг — самого императора.

«Покажет он мне тихую обитель в Сибирской тайге», — шептал Суворов, ожидая фельдгегера.

Но вторично распахнулась дверь, и, улыбаясь восхищенно, Прохор возвестил:

— Обознался я. К нам-то генерал Толбухин приехали.

— Проси, проси, — и Суворов сам кинулся в прихожую.

Толбухин был один из немногих приятных ему генералов, и присылка его в Кончанское означала царскую милость. Не изгнание, а почет.

В передней обнялись. Сбрасывая на руки Прохору, теперь опьяневшему уже от счастья, обширную волчью шубу, которую не прошибают никакие морозы, саванитый Толбухин, уважительно поклонившись Суворову, произнес:

— С великой вас честью!

Пройдя в горницу, он вручил большой пакет с царской печатью:

— Его императорского величества собственноручное вам письмо!

Суворов сломал печать и прочел послание Павла:

«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитывать. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Ита-

(Отрывок из романа)

Ольга Форш

Рисунки Т. Шишмаревой

лии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте от славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».

— Пригодился Суворов! — усмехнулся фельдмаршал. Глаза его загорелись веселым лукавством, — в монахи-то, пожалуй, мне отложить?

— Это Питт, английский премьер, предложил вас союзной армии, — сказал Толбухин, — а министр австрийский Тугут, слышать, упирался. Боятся они вас, однако пришлось уступить.

— Тугут! — воскликнул Суворов, и слабый румянец вспыхнул на его тонком лице, где, как на лице Вольтера, ничего не было лишнего, мертвого, не выражавшего силы мысли и воли. — Сия сова или сошла с ума, или его никогда у нее не было! Засел в своем гофкригсрате и оттуда, за сотни верст, мнит управлять своей армией. То-то французички бьют их. И не зря он меня боится: я ихнего, венского кабинета слушать не стану. И персонального себе профита австрийцы пусть не ждут от меня — я им не каштанный кот из огня каштаны таскать!

— Наши войска, согласно союзного договора, двинуты против Франции, — осторожно начал Толбухин, но Суворов быстро прервал:

— А коли двинуты, о чем и говорить? Теперь только нам побеждать во славу оружия русского. А сие возможно, ежели воевать будем по-русски, а не как ныне обучены все тугутовы да и наши — по-пруски. Когда я молод был, мы Фридриха бить ходили, и аттестовал он нас так: московиты суть дикие орды. Зато после Куннерсдорфа редакцию изменил: «Этих русских, — сказал он, — можно всех до единого перебить, но не победить» А не он ли кричал, не помня себя, когда проиграл баталию: «Ужели для меня не найдется пули?»

И с обидой, заново вспыхнувшей, за свое возлюбленное войско, замученное павловской муштрой, Суворов выкрикнул:

— Ежели русские всегда били прусских, что ж и перенять нам у них?

Поужинали рано и пошли на покой. Выезжать надлежало на рассвете.

— Проша, — сказал, словно робя, Суворов, — ты бы у старосты

в долг раздобыл. Путь-дорога дальняя, а у фельдмаршала денег-то...

— В кармане вошь на аркане, известное дело, — докончил Проша и пошел к Фомке-старосте. До стал двести рублей.

Всю дорогу Суворов погружен был в глубокую думу. Лицо его, пленявшее быстрой сменой выражения, как бы замерло. Большие веки прикрыли зоркие глаза, он весь ушел внутрь себя. Он готовился к великому бою... Несмотря на большой соблазн предложения Австрии, он твердо решил взять командование союзной армией только в том случае, если Павел не свяжет его никаким обязательством следовать в предстоящем итальянском походе его, прусским затеям.

В свою очередь, и Павел не мало волновался, ожидая Суворова. Прежде всего он боялся, что строптивый старик не поедет вовсе, и что же тогда с ним прикажете сделать? Сейчас, в виду внимания к нему всей коалиции, не сылать же его в самом деле в Сибирь?

Со все растущей обидой вспоминал Павел, как в последнем свидании тщетно уламывал фельдмар-



шала вступить вновь на службу, как на разводе, куда Суворов был им приглашен, единственно из уваженья к нему — солдат пусти-ли «в штucky», а Суворов развода не досмотрел и уехал раньше его, императора, явно придумав зазор-ный предлог: «помилуй бог, схва-тило брюхо!» Припоминал Павел, шагая взад и вперед по опосты-левшему покою Зимнего дворца, из которого все еще не удавалось переехать ему в Михайловский за-мок, все издевательские словечки над введенной им формой одежды, над косой, треуголкой и пудрой — уже ставшими поговоркой народ-ной. И как при встрече с ним Суворов нарочно не мог вылезти из дверцы кареты, все будто пуга-лось в ней со своей шпагой ново-го образца, под приглушенный хо-кот придворных.

— И какой только силой этот старик побеждает, воля противу всех воинских правил? — с доса-дой спросил себя Павел. Тут же с радостью вспомнил отзыв завист-ливого царедворца, услышанный им намедни: у Суворова не искус-ство военное, а чистый натура-лизм, сиречь — случай, безумие, счастье. Однако сей натурализм не малую нам снискал победу при матушке. Под Римником Суворов побил с двадцатью пятью тысячами сто турецких, а при Козлудже — с восемью нашими — вражеских сорок.

Павел подошел к высокому готи-ческому шкафу, вынул старую книгу в кожаном переплете и сел



в кресло. Он раскрыл Сен-Мартена на главе «О священной иерархии» и прочел знакомые страницы, ко-торые неизменно подкрепляли его веру в свое высшее право и назна-чение.

Выходило, что монарх — орудие самого бога, и на нем, после пома-зания на царство, как на лице ду-ховном, почиет благодать.

«Коль скоро я не самовольно на троне, как моя покойная матуш-ка, — гордо думал Павел, — а сам-им рождением моим поставлен над всеми, то сим правом обязан воспользоваться. Более того: обя-зан настаивать, хотя бы с приме-нением силы, на исполнении воли моей...»

А воля Павла была выражена еще в той записке, которую, буду-чи наследником, он подавал Екате-рине — о необходимости ограни-чить людей от фельдмаршала до рядового столь подробными на все инструкциями, чтобы ни мысли собственной, ни самоволия иметь не могли.

Тем более сейчас большая душа его находила недостающую ей опо-ру в механичности порядка, дове-денного до того предела, где и лиш-ний вздох становился преступ-ным.

А строптивый фельдмаршал, ему не раз доносили, во всеуслышание объявлял: «Действуй неустанно собственным разумом — будешь жив, человек!»

Усилием воли Павла отогнал от себя раскаляющие гнев воспомина-ния о Суворове. Сейчас все-таки самое главное, чтобы он приехал.

Наконец, бешено примчавшийся курьер, предваряя фельдгерскую тройку, привез известие, что фельд-маршал вот-вот прибудет в Петер-бург.

У Павла отлегло от сердца — не посмел ослушаться! Но тут же привычная подозрительность влила свою отраву:

«За легкими лаврами старик по-спешил, — думает, за горами его мне не достать. А ну как разложит он мне самовольством всю армию? Досмотр за ним нужен, досмотр...»

И Павел велел призвать к себе генерала Германа. Недаровитый, старательный служака, этот генерал всем подтянутым видом, отвечав-шим требованиям Павла, изобразил на тусклом лице своем одну готов-ность слушать и исполнять.

Павел сказал:

— Венский двор просил меня на-чалство над союзными войсками вверить графу Суворову. Предва-рю вас, что вы будете во все вре-мя его командования иметь за ним наблюдение и соответственно делать доклады об оном. Не допускайте его увлекаться своим воображением, заставляющим его забывать все на свете...

— Ваше величество, — оторопел от испуга, сказал Герман, — но фельдмаршал ведь всемирно про-славлен победами и ему 69 лет...

— Нет ему возраста, — оборвал

Павел, — а его своеволию нет пре-дела. Исполнять, что приказано!

Доложили Суворова, Павел, силь-но волнуясь, сделал несколько ша-гов на середину покоя. Суворов во-шел...

Обычная легкость его существа от усилившейся худобы и болезней стала какой-то невесомой, крыла-той. Казалось, он освобожден от всей земной тяжести и, если захо-чет, может взлететь. Гармоничность его быстрых, мелких движений и соразмерность всех членов давали впечатление отлично подогнанного, легчайшего механизма, вместе с тем не хрупкого, но обладающего гиб-кой крепостью стали. От нервного возбуждения сейчас особо подчерк-нут был мускул правой щеки, чуть змеилась улыбка. Его глаза, широ-ко раскрытые, синие, полны были такого зоркого огня, такой превы-шающей силы, что Павел вдруг смешался и не знал, что ска-зать.

Суворов поклонился согласно эти-кету, но заговорил первый:

— Ваше величество! Во славу моей родины приношу жизнь мою и все мои знания. Но слушаться гофкригсрата, воля ваша, — не стану! За тысячу верст невозможно баталий руководить. Одна минута решает исход. Один час — успех кампании. Один день — судьбу им-перии. Коли я полководец — сам действую, сам решаю, сам отве-чаю.

Павел сделал еще шаг к Суво-рову. И вдруг, сам не зная как, сказал:

— Ну, воюй, как умеешь...

Очень скоро Суворов уже несся в дорожной кибитке в Вену с неиз-менным своим спутником — ден-щиком Прошкой. После прощаль-ных возлияний с приятелями Про-хор мирно похрапывал, а Суворов никак не мог успокоиться на ко-жаных подушках сиденья: то он вскакивал, наклоняясь вперед, как бы стремясь еще ускорить бег ко-ней, то, взобравшись высоко, гово-рил сам себе:

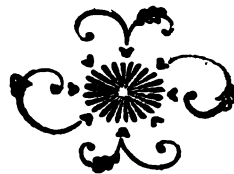
— Воюй как умеешь, — вот это дело! Ну и повоюем же мы...

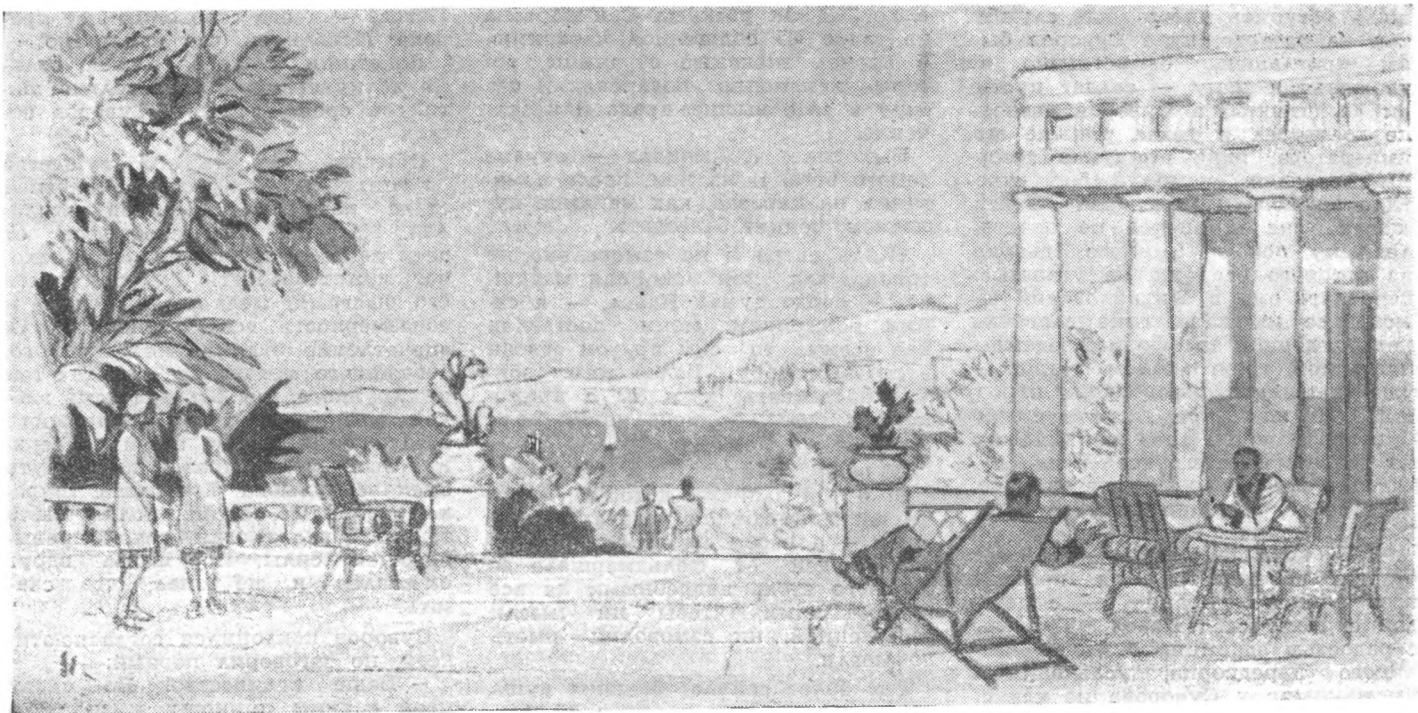
Прохор проснулся и ворчливо сказал:

— И мягко, кажись, вам, и теп-пло. Чего еще требуется? А чело-веку из-за вас не вздремнуть...

— Торжествуй, Проша, — Суворов хлопнул денщика по колену, — первая наша победа одержана. Как в поход тронемся — окаянную косу всем прочь!

— И дело, — согласился Прохор, зевая, — давно б ее крысам со-жрать!





О Ч Е Н Ь П Р И Я Т Н О

В годы войны в печати появилось несколько весьма сентиментальных рассказов на одну и ту же, видимо, «бродячую» тему. Тема эта варьировалась по-разному, но в основном она сводилась к нижеследующему:

Одиноким боец. Страдает и озорчаетсь, не получая писем. Товарищи, желая поддержать его моральный дух, пишут ему письма от воображаемой особы.

Яркий солнечный день. Санаторий. Открытая веранда. Широкие ступеньки ведут в сад. На веранде плетеные кресла. Шезлонг. Кактусы в зеленых кадках. В кресле сидит мужчина лет сорока. Это майор ветеринарной службы Иван Иванович Сидоренко. Он с любопытством посматривает на молоденького лейтенанта, который, видимо, только что побрился и теперь не без удовольствия рассматривает себя в небольшое карманное зеркальце. Лейтенант Андрей Трыкин и майор Сидоренко в ярких цветных пижамах.

1

Майор. Хорош, хорош... А что, она сейчас придет?

Лейтенант. Сказала, что придет. Майор. И, значит, решили, с ней пожениться?

Лейтенант (смотрясь в зеркальце). Угу...

Майор. Следует отметить, — она интересная, культурная особа... Повезло тебе в этом смысле.

Лейтенант. Мне вообще очень везет, товарищ майор... Глядите, всю войну на переднем крае пробыл и хоть бы что.

Майор. Где же, понимаешь, «хоть бы что»? Пробит, как горшок — в шести местах.

Лейтенант. А вы спросите — как

Мих. Зоценко

Рисунок Н. Кочергина

И достигают в этом наилучших результатов... И вот в одном госпитале, прочитав такое произведение, решили осуществить нечто подобное в жизни. Однако положительных результатов не добились, ибо в такой литературной вы-

пробит? Косметически. Ничто существенное не задето. Честное... И раньше так же везло, когда был в ремесленном училище. И теперь... Все время везет... Кругом во всех делах...

Майор. Ну уж и кругом!

Лейтенант. Честно... кругом... Вчера, например, шел и колечко нашел... Глядите... Зеленый камушек...

Майор (рассматривая колечко). Ну, колечко-то, понимаешь, чепуховое...

Лейтенант. Неважно, что чепуховое... А для общей картины моего везенья и это колечко показательное.

Майор. Вообще мне тоже везет... Вот только в одной области у меня досадный прорыв. Не имею, понимаешь, успеха у женщин.

Лейтенант (улыбаясь). Ну, может быть, это вам только так кажется, Иван Иванович?

Майор. Где же, понимаешь, кажется. Печальный факт... Дай-ка мне твое зеркальце... Погляжу, что из себя представляю... (Смотрится). М-да... Вид, как говорится, неважнецкий... Или ничего, а? Не понимаю, что им надо...

(На веранду выходит медсестра Дуся. Она молода, скромна и хороша собой).

2

Дуся. Товарищ младший лейтенант, ванна будет через пять минут. Приго-

думке лежала искусственная, нереальная, фальшивая мотивировка. И тут литература резко разошлась с жизнью.

В основу моей комедии положен полнейший такой случай, несколько усложненный мною согласно требованиям сцены.

Здесь я печатаю первый акт этой комедии.

М. З.

товьтсь. (Майору). А вы как насчет ванны, товарищ майор?

Майор. А я, Дуся, уже прошел вашу... гидротерапию.

Дуся. Отлично.

(Поправив подушки на пустом шезлонге, Дуся собирается уйти. Майор Сидоренко склоняется к лейтенанту).

Майор. Взгляни нарочно... Сейчас с ней заговорю... Увидишь, как она меня отбреет... (Дусе). Заботливо подушечки поправяете, уважаемая. Уж не привлекает ли вас сей временно отсутствующий капитан? (Жест на пустой шезлонг).

Дуся. Как странно вы говорите, товарищ майор... Нормально поправляю подушки...

Майор (шутливо грозит пальцем). А-а, значит...

Дуся (сухо). Извините, товарищ майор, мне некогда... (уходит).

3

Майор. Видал... отбрила... Нет, я тебе говорю—это у меня битое дело... Если б не это, я бы тоже был исключительно счастливым, вроде тебя.

Лейтенант. Нет, нельзя сказать, что у меня такое уж безоблачное



Анна Ахматова

Стихи разных лет

У кладбища направо пылил
пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Офелия, иди
в монастырь
Или замуж за дурака!»
Принцы только такое всегда
говорят,
Но я эту запомнила речь.
Пусть струится она сто веков
Горностаевой мантией с плеч.

1909 г. Киев

Отрывок из поэмы „Русский Трианон“

(Воспоминания о войне 1914—17 гг.)

I

Как я люблю пологий склон зимы,
Ее огни, и мраки, и истому,
Сухого снега круглые холмы
И чувство, что вовек не будешь
дома.
Черна вдали рождественская ель,
Кричит ворона, кончилась метель.

II

И рушилась твердыня Эрзерума,
Кровь заливала горло Дарданелл,
Но в этом парке не слышали шума,
Лишь ржавый флюгер вдалеке
скрипел.
Но в этом парке тихо и угрюмо
Сверкает месяц, снег алмазно бел.

III

Прикинувшись солдаткой, выло
горе,
Как конь, вставал дредноут на
дыбы,
И ледяные пенные столбы
Взбешенное выбрасывало море
Да звезд нетленных из груди
своей,
И не считали умерших людей.

1923 г.

Надпись на книге

М. А. Лозинскому

Почти что от Летейской тени
В тот час, как рушатся миры,
Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары.
Чтоб та, над временами года
Несокрушима и верна
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена,
Мне улыбнулась так же кротко,
Как тридцать лет тому назад,
И сада Летнего решетка,
И оснеженный Ленинград
Возникли словно в книге этой
Из мглы магических зеркал,
И над задумчивою Летою
Тростник оживший зазвучал...

1940 г.



Август 1940 г.

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит.
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит,
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет.
И тихо, так, господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке,
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник ходит луна.
Так вот над погибшим Парижем
Такая теперь тишина...

1940 г.

Возвращение

Все души милых на высоких
звездах,
Как хорошо, что некого терять,
И можно плакать. Царскосельский
воздух
Был создан, чтобы песни повторять.
У берега серебряная ива
Касается сентябрьских ярких вод,
Из прошлого восставши,
молчалива,
Ко мне навстречу тень моя идет.
Здесь столько лир повешено на
ветки,
Что и моей как будто место есть,
А этот дождик, солнечный
и редкий,
Мне утешенье и благая весть...

Три осени

(Отрывок)

И я наблюдала почти без ошибки
Три осени в каждом году.
И первая — праздничный
беспорядок
Вчерашнему лету на зло,
И листья летят, словно ключья
тетрадок,
И запах дымка так ладанно
сладок,
Все влажно, легко и светло...
И первыми в танец вступают
березы,
Накинув сквозной убор.
Стряхнув второпях мимолетные
слезы
На соседку через забор.
Но это бывает, чуть начата
повесть,
Минута, секунда, и вот
Приходит вторая —
Бесстрастна, как совесть.
Мрачна, как воздушный налет...
Все кажется сразу бледнее
и старше,
Разграблен летний приют.
И труб золотых отдаленные
марши
В молочном тумане плывут...

1943 г.

Вечерняя комната

Когда лежит луна ломтем
чарджуйской дыни
На краешке окна И духота кругом,
Когда закрыта дверь и заколочен
дом
Воздушной веткой голубых
глициний,
И в чашке глиняной холодная
вода,
И полотенца снег, и свечка
восковая,
Как для обряда все. И лишь
не уставая
Грохочет тишина...
Из страшной черноты
Рембрандтовских углов
Склубится что-то вдруг и спрячется
туда же.
Но я не встрепенусь, не испугаюсь
даже,
Здесь одиночество меня поймало
в сети,
Хозяйкин черный кот глядит, как
глаз столетий,
И в зеркале двойник не хочет мне
помочь.
Я буду сладко спать. Спокойной
ночи, ночь!

Ташкент. 28/11-1944 г.

Памяти друга

И в день победы, нежный
и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
И довою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна...
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.

1945 г.





1

Ладожский поезд подошел к перрону Финляндского вокзала в десять часов вечера. Стояла такая темень, что, выйдя из вагона, Комаров первую минуту не знал, куда двигаться. Потом, когда глаза немного привыкли, он пошел вслед за другими немногочисленными пассажирами, прибывшими в Ленинград.

На перроне и на платформе было пусто, пылтел неосвещенный паровоз, раздавались редкие негромкие голоса. Все было совсем не так, как несколько дней назад, когда тысячи людей заполняли все помещения вокзала, спали и сидели на своих вещах во всех проходах, на полу, багажных тележках, столах... Теперь ехать было некуда.

Комаров вышел на площадь. И здесь тоже было темно и пусто, черной громадой высился памятник Ленину, укрытый досками и мешками с песком, смутно проступали очертания домов. Город казался покинутым, и только луч прожектора, пробегавший по скоплениям туч, изредка оживлял над ним небо. И это ощущение тягостной тишины было так велико, что пассажиры, прибывшие с поездом, неслышно и молча разошлись с вокзала.

Постояв немного, Комаров двинулся к Литейному мосту. До часа, назначенного генералом для явки в Смольный, оставалось много времени — поезд неожиданно пришел без задержки, и Комаров решил заглянуть к себе домой, на улицу Маяковского. В квартире он не был уже больше месяца, и даже не знал, уцелел ли дом.

На проспекте во многих местах валялись оборванные провода, осколки стекла, сорванные листы железа — очевидно, недавно был воздушный налет, а в одной из боковых улиц всю мостовую перегородили обломки рухнувшей четырехэтажной стены. На темном фоне неба смутно зиял огромный провал. Но людей возле развалин уже не было, только под каждой аркой ворот, у каждого подъезда виднелись неподвижные фигуры

ЛАДОГА

(Отрывок из романа „Дорога на Ленинград“)

И. К р а т т

Рисунки Н. Кочергина

дежурных с огромными сумками противоголозов через плечо, заметными даже в темноте. Большинство сидело в удобных креслах или на стульях, вынесенных из разбитых домов или своих квартир. Вещи потеряли цену.

Один из таких дежурных попросил у Комарова огонька, и, пока человек прикуривал, капитан разглядел при свете спички большое красноватое лицо старухи с таким обилием морщин, что, казалось, даже нос ее и подбородок размечены на дольки. Старуха несколько раз затынула его, не выпуская самокрутки изо рта, молча кивнула и снова уселась на какой-то причудливый стул.

Последний месяц Комаров почти не выходил из штаба, и ночная жизнь города была ему совершенно незнакома. Теперь он почувствовал, что дома стоят не пустые, что тишина и безлюдье на улицах организованы, что за темными молчаливыми стенами находятся люди, и что мерный стук метронома на перекрестках улиц подтверждает эту организованность и настроенное безмолвие.

Дом, в котором он жил, был тоже похож на крепость, и это впечатление усилилось еще больше, когда дежурная девочка-подросток, сидевшая у ворот, придерживая свой огромный противоголоз, долго и недоверчиво выпытывала у него, кто он такой и зачем сюда идет.

— Комаровы уехали, а он сам на фронте, — говорила она, стараясь прикрыть коротким пальто свои зябнувшие ноги. — Никого нет, И вообще ночью теперь не ходят.

Узнав же, что сам Комаров и стоит перед ней, девочка соскочила с табурета и сказала совсем повзрослому:

— Господи, хоть один мужчина появился в доме!

В мужской шапке, с выглядывавшим из-под нее пучком светлых волос, с тяжелым противоголозом через плечо, длинноногая, худенькая, она стояла в просвете двери и ждала, пока Комаров поднимется на площадку. Потом вдруг весело, по-мальчишески свистнула и снова уселась на свое место.

Светя электрическим фонарем, Комаров добрался до четвертого этажа и, открыв дверь ключом, который носил при себе, вошел в квартиру. Здесь тоже было пусто — жильцы уехали, по коридору через разбитое стекло гулял ветер, хрустели под ногами осколки. Как видно, недалеко упала бомба и взрывной волной повредило окно. Но в его комнате окна уцелели, работало электричество, и все осталось таким же, как и месяц назад. Лишь гуще выросла пыль.

Не снимая шинели, Комаров присел к письменному столу. Зажег лампу, вытер запыхавшуюся фотографию матери и сына, потрогал папки с чертежами и рукописями незаконченной диссертации и почувствовал, как многое уже стало прошлым. Даже не было того ощущения остроты разлуки, какое он испытывал еще недавно, сожаления об утраченной привычной жизни. Война создавала свою жизнь и быт, и было облегчением, что близкие не испытывают ее ужасов...

Когда он уходил, как командир запаса, на фронт, директор завода — пожилой, нервный, малоразговорчивый человек — сказал ему неожиданно грустно и тихо:

— Большие испытания ждут нас, Николай Петрович. Германия — трудный противник... А мы все же до сих пор любили, грешным делом, хвастнуть. Сильнее нас — в мире нет. А учиться-то и забывали... Побьем мы, конечно, немца, побьем, только не шапками, а великим мужеством и выдерж-

кой... Вы были хороший инженер, станьте хорошим и командиром, учитесь, войте и учитесь. Для этого у вас будет очень много времени...

Комаров тогда был очень возмущен. Война только начиналась, первые неудачи, казалось ему, не шли в расчет, и слова директора представлялись упадочническими и вредными. Он так и ответил и вышел из кабинета, еле попрощавшись...

На столе стояло складное зеркало для бритья. Комаров вытер его рукавом шинели, некоторое время разглядывал себя в потускневшем стеклянном прямоугольнике. Серое со впалыми щеками лицо, шрам над левой бровью, обезобразивший лоб, отросшие, как у школьника, волосы сжиком, опоясанные следом околыша редко снимаемой фуражки, упрямые широкие губы... Он томорщился и встал. Если отпустить бороду, никто не скажет, что данному индивидууму всего тридцать лет.

Открыв ящик стола, он взял отсюда несколько коробков со спичками, припасенными еще в начале войны, достал из шкафа чистое полотенце. Все это закинул в сумку для противогаза и собрался уже погасить свет, как вдруг на улице, сперва хрипло, а затем пронзительно, завывала сирена.

— Воздушная тревога... Воздушная тревога... Воздушная тревога... донесся голос из репродуктора, и почти сразу же захлопали зенитки. Пользуясь темнотой и непогодой, вражеские бомбардировщики незаметно прорвались к городу.

Комаров повернул выключатель, запер дверь и, не торопясь, вышел на лестницу. Сидеть в квартире или в бомбоубежище во время налетов он не мог, всегда тянуло на улицу, под открытое небо. Там, по крайней мере, хоть что-нибудь было видно, можно двигаться, не было угнетающего сознания беспомощности, скованности, покорности судьбе. А главное — не было вокруг томительного ожидания, вынужденного бездействия сотен людей, загнанных в подвалы, под арки и другие убежища.

Летом во время первых тревог люди разбегались по щелям, вырытым в каждом скверике, в садах, на бульварах, скопаялись под деревьями, словно укрывались от дождя. Тревоги тогда были в новинку и непродолжительны, стояли погожие дни, и посидеть на траве или под кустом не казалось утомительным. Он сам не один раз лежал на Марсовом поле, наблюдая вместе со множеством других людей, высаженных из трамваев и автобусов, за воздушными боями в высоком небе, за клубочками зенитных разрывов, белыми оспинами усеявшими небесную голубизну. Тогда еще ездили со всех концов города в район Московского вокзала глядеть на первый поврежденный бомбой дом...

Выйдя на лестницу, Комаров услышал хлопанье дверей, шаги, детский плач, кое-где светили фонариком. Время от времени раздавались голоса. Говорили негромко, мало, как видно, давно уже ко всему привыкли и спускаться в бомбоубежище стало обыденным занятием. Только нервная торопливость выдавала напряжение. Комаров хотел прорваться на улицу, но на площадке второго этажа ему пришлось остановиться. Высокая старуха тащила по ступенкам какие-то свертки, стулья, загородила дорогу, а позади маленькая, светловолосая женщина несла спящего большого ребенка. Женщина прижала свою ношу к животу и груди, ей было тяжело и неудобно, фонарик в ее руке прыгал, светил куда-то в сторону.

— Мама, скорей. Скорее же, мама... — торопила она старуху, и голос у нее был испуганный, детский.

Женщины заняли весь проход, Комаров собрался было просить их посторониться, но, увидев торопливую беспомощность, растерянность и страх, молча взял из рук маленькой женщины подушку с ребенком, сунул ей в руки свой большой электрический фонарь, ногой освободил застрявший на пороге стул.

— Светите, — сказал он. — Я доведу. Они спустились, наконец, в бом-

боубежище, — обыкновенный подвал, в котором до войны жил дворник. Здесь сохранилась плита с лежанкой, остов большущей деревянной кровати, на ней сидели несколько старух и о чем-то дражливо спорили. По углам и на лежанке расположилось еще человек пятнадцать. Какой-то старик сидел в шезлонге — как видно, место освоил давно — и читал рукопись. В подвале горела только одна лампочка, было темновато, и старик приспособил к своему креслу керосиновую коптилку на длинном железном пруте.

Но из прежних жильцов дома Комаров почти никого не заметил. Большинство эвакуировалось, часть ушла на фронт, некоторые ночевали на месте работы. Лишь уже тут, в подвале, он узнал женщину, которой помог нести ребенка, вспомнил и старуху. Они жили лет пять назад недалеко от его квартиры, и маленькая женщина тогда была просто светлокосой студенткой, бегавшей по лестнице всегда в разорванном у колен коротком платье. Однажды он одолжил ей булавку — девушка торопилась и не хотела возвращаться домой. Теперь она казалась постаревшей на двадцать лет...

Женщина его тоже узнала. На мгновение она почтимо-то смутилась, торопливо поправила волосы, а потом вдруг сердито улыбнулась и быстро взяла ребенка.

— Спасибо, — сказала она. — Я уже привыкла.

Комаров видел, как она с трудом подняла подушку, положила на какие-то доски и медленно опустилась рядом. Мальчику было около трех лет, даже похудевший и тоненький он отнимал у нее все силы.

— Тоня, — позвала ее из другого угла старуха, примостившая, наконец, свои стулья, — иди сюда. Я нашла здесь место. Скорее, а то...

Глухой тяжелый удар, качнувшийся весь дом, оборвал фразу. Подвал словно перекосило, брызнула со стен и потолка штукатурка, метнулась и замигала электрическая лампочка. Люди закричали, задвигались, разбилась коптилка старика. Две женщины побежали к выходу, одна из них упала, уронила



ребенка и судорожно тянулась его поднять. От второго удара погас свет.

— Тише! Успокойтесь!.. — закричал Комаров, света своим фонарем. — Тише!..

Но он не в состоянии был удержать обеспамятевших от страха людей и только постарался загорючить собою спавшего на досках мальчика. Потом вдруг лампочка опять зажглась, жильцы утихли и остановились. Новых ударов не последовало.

— В наш дом, — сказал кто-то шопотом.

— Танечка моя... Танечка!.. — закричала вдруг женщина из угла. — Доченька..

Она бросилась к выходу, но в этот момент на пороге появился мужчина в каске и с красной наруканной повязкой.

— Бомбы упали на улице, — сказал он громко. — Дом не пострадал. Давай понемножку наверх, по черной лестнице. Отбой тревоги.

Увидев женщину, выбежавшую из угла, он тихонько отстранил ее, обнял за плечи:

— Ничего, мамаша, ничего... Дочка в штабе. Ничего...

Но Комаров заметил, что дежурный старается смотреть в сторону.

Комаров помог отнести наверх ребенка, заколотил ковром разбитое в комнате Антонины Павловны (так звали маленькую женщину) окно, сгрел со стола и стульев осколки стекла и, не заходя к себе на квартиру, заторопился в Смольный. Было уже половина двенадцатого.

Разбуженный суматохой мальчик снова уснул. Тоня сидела возле него, не раздеваясь. При свете затененной лампы, в черном меховом пальто, она показалась Комарову совсем отошавшей и слабой.

— Всю ночь... Так всю ночь... — сказала она тихо.

Комаров вдруг растегнул полевую сумку, достал оттуда изломанную, завернутую в потертую от долгого ношения газету, плитку шоколада — свой «аварийный запас» и, положив ее на стол, быстро вышел. Больше он пока ничем помочь не мог.

Спустившись по главной лестнице, он увидел, что парадная дверь наполовину открыта, и, когда посветил фонарем, в ужасе отшатнулся. В узком тамбуре на полу лежал труп девочки, той, что дежурила у подъезда. Она лежала возле стены в луже крови, как-то боком, подогнув тонкие, смуглые ноги. Девочку еще не успели убрать, только кто-то, очевидно, дежурный, прикрыл полою пальто ее разможенную взрывом голову.

2

Когда Комаров явился в Смольный, генерал уже был на заседании Военного Совета. Дежурный адъютант, усталый и чем-то расстроенный, предложил присесть и по возможности не курить —

ночью из-за маскировки окон трудно проветрить комнату.

В приемной находились еще трое военных. Неяркий свет лампы с зеленым абажуром, стоявшей на бюро адъютанта, оставая в полумраке всю комнату, создавал обстановку спокойствия и неторопливости. Словно враг находился отсюда за сотни километров, не было ни ежечасных бомбардировок, ни разрушений, не было блокады, и над городом не нависла страшная угроза.

Невольно Комаров вспомнил ночные улицы, по которым только что проходил, темные фигуры под воротами и у подъездов, тревогу, бомбоубежище, смерть девочки, последние усилия на озере — все молчаливое и непоказное мужество людей, и подумал, что сила, объединяющая их, идет отсюда, из таких вот комнат с притемненным светом, не закрывающихся ни днем, ни ночью...

Когда-то, задолго до войны, он посетил турбинный цех одной из мощнейших в Союзе гидроэлектростанций. Чудовищная сила воды, низвергающейся в пластины, равнялась усилиям десятков миллионов людей, и вся она была заключена под несколькими стальными колпаками турбин, расположенных в зале. Тихина и покой царили в этом просторном высоком здании. Помещение походило на гигантскую лабораторию, тихую и безмолвную... Так же, как здесь, в этих коридорах и комнатах.

Неожиданное сравнение на минуту отвлекло его, а потом все то, с чем он приехал с озера, снова неотступно выплыло на передний план. Это было началом конца, и теперь никто ничего изменить не мог... Неслышно открылась дверь, в приемную вошел плотный, коренастый полковник. Он глянул на поднявшихся командиров, осмотрелся, затем, подойдя к Комарову, уверенно спросил:

— Вы прибыли с Ладоги?

— Я.

— Комаров?

— Капитан Комаров.

— Пойдемте.

Они прошли коридором, миновали часовых и очутились в небольшой комнате, очень похожей на ту, в которой Комаров только что ждал вызова. Это была приемная Жданова. Тяжелая массивная дверь вела в его кабинет. Неволевым движением Комаров поправил пояс, воротник гимнастерки, взволнованно провел несколько раз по стриженной голове. Он не думал, что ему придется докладывать в присутствии самого Жданова, смутился и оробел. Но полковник уже открыл дверь.

Комарову бросились в глаза желтые шторы на окнах, собранные, как бумажный фонарик, складками, высокая комната с большим столом, заваленным картами, возле них знакомые фигуры членов Военного Совета, тонкое, продолговатое лицо Кузнецова, дальше еще двое людей, которых он не знал.

Немного сбоку, ближе к настольной лампе сидел Жданов.

Комаров уже не одну неделю работал в штабе, часто встречал многих из сидевших здесь, присмотрелся к ним, но Жданова никогда близко не видел и знал больше по портретам и фотографиям. Не был никогда и в этой части здания.

Андрей Александрович сидел почти у самой лампы, и лицо его было хорошо освещено. Комаров привык видеть его и на фотографиях и на портретах полным, с немногом насмешливым и вместе с тем добродушным взглядом, а сейчас лицо Жданова осунулось, глаза были строги и внимательно-холодны. Он кончал диктовать девушке-бодистке, работавшей на своем аппарате за отдельным столом.

... — Как только появится лед, произвести аэрофотосъемку... Проверить показания рыбаков относительно майны и банок Железницы и Остречье... Разведке задача: разведать путь на восточный берег, обогнув майну с севера...

Потом, словно продолжая прерванный разговор, повернулся к остановившемуся посреди комнаты Комарову и негромко сказал:

— Есть уверенность, что озеро станет через день-два?

— Есть... — неожиданно твердо ответил Комаров.

Он вдруг почувствовал, что иначе ответить не мог. Присутствующие подняли головы, и, как ему показалось, лица на мгновение посветлели. Так страстно ждали люди того, о чем он сейчас сказал, и так остро необходима была эта надежда...

Жданов задал еще несколько вопросов, спрашивали и генералы, но Комаров видел, что они уже знают о положении на озере не менее его и что решение принято.

Взволнованный, он вышел из кабинета, шел по коридорам, по которым ходил Ленин, по лестнице, не замечая ни полумрака, ни холодных перил, не слыша гулких своих шагов... Решение было принято.

Алексей Половников

Сно ва

Снова детства моего река,
Снова мы увиделись с тобой,
Пляшущие ветви тальника
Медленно сомкнулись за кормою,
Бабочки садятся на весло,
Сонная вода звенит в заламах,
И опять мне душу обожгло
Пряное дыхание черемух,
Трубно кличут
В небе
Журавли...
Не наслушаться, не наглядеться.
Милый сердцу уголок земли —
Родина, отцовское наследство.

Илья Сельвинский



Севастополь

Я в этом городе сидел в тюрьме.
Мой каземат — четыре на три.
Все же
Мне сквозь забрало было слышно
море,

И я был весел.
Ежедневно в полдень
Над городом салютовала пушка.
Я с самого утра,
Едва проснувшись,
Уже готовился к ее удару
И так был рад, как будто мне
дарили
Басовые часы.

Когда начальник,
Не столько врангелевский, сколько
царский
Пехотный подполковник Иванов,
Хотел меня побаловать книжонкой,
И мне, влюбленному в туманы

Блока,
Прислали вдруг Никитина стихи,
Я гордо их вернул и попросил
Коллекцию — ах, все равно какую,
Но только, чтобы яркая.

Старик
Не стал, конечно, бегать по базару,
А попросту сорвал из Брэма
вкладыш
С цветным изображеньем
мотыльков —

И вот в угрюмой дымке каземата
Блеснуло золотце и голубец,
И нежный огонек и зеленинка...
И я был счастлив девятнадцать
дней.

Потом я вышел и увидел пляж
И вдалеке трехярусную шхуну
И тузика за ней.
Мое веселье

Ничуть не проходило.
Я подумал,
Что если эта штука бросит якорь,
Я вплавь до капитана доберусь
И поплаву тогда
в Константинополь
Или куда-нибудь еще.

Но шхуна
Растаяла в морской голубизне...
Но все равно я был
блаженно-ясен:
Ведь не оплакивать же в самом
деле

Мелькнувшей радости!
И то уж благо,
Что я был рад. А если оказалось,
Что нет для этого причин —
тем лучше:
Выходит, радость мне досталась
даром!

Вот так слонялся я походкой
брига
По Графской пристани и мимо
бронзы
Нахимову, и мимо панорамы
Одиннадцатимесячного боя,
И мимо домика, где на окне

Сидел большоголовой,
коренастый
Домашний ворон с синими
глазами.
Да, я был счастлив. Ну, конечно,
счастлив.
Безумно счастлив! Девятнадцать
лет —
И ни копейки... У меня тогда
Была одна улыбка. Но такая,
Что, если захочу, то и собаки
За мною побегут. Я это знал.

Вам нравятся ли девушки
с загаром
Темнее их оранжевых волос?
С глазами, точно две морские
бухты

В полнейшую бунацию?
С плечами
Пошире бедер? А?
И востроносость?
Одна такая шла ко мне навстречу..
То есть не то, чтобы ко мне.
Но шла.

Как бьется сердце... Вот она
проходит...
Нет, этого нельзя и допустить,
Чтобы она исчезала...
— Виноват!

Она остановилась: «Да?» Глядит.
Скорей бы что-нибудь придумать...
Ждет.
Ах, чорт возьми! Но что же ей
сказать?

— Я, видите ли... Я...
Вы извините...

И вдруг она взглянула на меня
С каким-то очень теплым
выраженьем
И, сунув руку в розовый
кармашек
На белом поле (это было модно),
Протягивает мне... керенку.
Боже!

Она меня за ничего...
Хорош.
Я побежал за ней:
«Остановитесь!
Ей-богу, я не это...
Как вы смели?!
Возьмите, умоляю вас — возьмите.
Вы просто мне понравились, и я...»

И вдруг я зарыдал.
Я сразу понял,
Что все мое тюремное веселье
Пыталось удержать мой ужас.
Ах!

Зачем я это делаю?
Много легче
Отдаться чувству.
Пушечный салют
И эти бабочки...
Какая пытка!
А девушка берет меня за локоть
И, наступая на зевак, уводит
Куда-то в подворотню.
Две руки
Легли на мои плечи.
«Что вы, милый!
Я не хотела вас обидеть»,
милый,
Ну, перестаньте, милый,
перестаньте!»

Она шептала и дышала часто,
Должно быть, опьяняясь
полумраком
И самым попотом и самым
словом,

Прелестным,
обаятельным,
зовущим,
Чарующим, которое, быть может,
Ей говорить еще не приходилось,
Сладчайшим соловьиным словом
«Милый»...

Я в этом городе сидел в тюрьме.
Мне было девятнадцать.
А сегодня
С какой-то запоздалой батареей
По трупам фрицев я шагаю снова
Дорогой Балаклава — Севастополь.

На этом пустыре была тюрьма.
Так. От нее направо.
Я иду
К нагорной улочке, как будто
кто-то

Приказывает мне итти.
Куда?
Развалины...
Обвалы...
Пепелища...
И вдруг — среди пожарища
седого.

Моргающего углями
под пеплом, —
Какие-то железные ворота,
Ведущие в пустоты синевы.
Я сразу их узнал... Да, да...
Они...

И тут я почему-то оглянулся,
Как это иногда бывает с нами,
Когда мы ощущаем чей-то взгляд:
Через дорогу — в комнатке,
проросшей

Сиренью, лопухами и пыреем,
В оконной раме, выброшенной
взрывом —

Все тот же домовитый,
головастый,
Столетник-ворон с синими
глазами.

Ах, что такое лирика?
Для мира.
Непобедимый город Севастополь —
История.
Музейный броненосец.
Энциклопедия имен и дат.
Но для меня... Для сердца моего...
Для всей моей судьбы... Нет,
я не мог бы

Спокойно жить, когда бы этот город
Остался у врага.
Нигде на свете

Ни под какими звездами земли
Я не увижу улочки вот этой
С ее уклоном от небес к воде,
От голубого к синему...

Быть может,
Есть и острей,
и ярче,

и красивей,
Но этой, винтовой да колченогой,
Где я рыдал когда-то, упиваясь
Прелестным лепетом, ласкавшим
слух,

Но этой самой — нет...
И тут я понял,
Что лирика и родина — одно.
Ты помнишь, ворон,

девушку мою?
Как я сейчас хотел бы
разрыдаться!
Но это больше невозможно:
стар.



ПЕРВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Валя Алексеева работала в Скобелевском комитете в зале присутствия по выдаче пособий инвалидам войны. Она то и дело перебежала от окошка к столу, принимая прошения о помощи.

— Валя Алексеева! — раздался высокий, скрипучий голос. Это была сама княгиня — председательница комитета, костлявая старуха в черном шелковом платье с нашитым на груди красным крестом.

Валя, занятая работой, не слышала окрика.

— Валя Алексеева! — резко повторила княгиня. — Там вас какой-то мужик спрашивает.

В Скобелевском комитете Февральская революция ничего не изменила, и княгиня попрежнему держалась надменно и властно.

Валя смущенно одернула платье и прошла мимо председательницы.

В вестибюле она еще больше смутилась, когда увидела Василия в рабочем комбинезоне, лоснившемся от машинного масла, перепачканном суриком и белками.

Увидя Валя, он торопливо направился к ней.

— Иди сейчас же домой. Я буду ждать тебя на улице, — сказал он скороговоркой и, круто повернувшись, вышел.

Через несколько минут взволнованная Валя выбежала на улицу. Василий ждал ее недалеко от подъезда и сразу же, как только она подошла ближе, взял ее за локоть и негромко сказал:

— Слушай, у меня есть к тебе поручение. Очень срочное. — Он оглянулся, слегка замаялся. — Видишь ли... Дело в том, что мне... то-есть нам... Центральному Комитету нужно на несколько дней, может быть, на неделю, найти комнату или квартиру, где мог бы жить один товарищ, понимаешь? Но это нужно сделать спешно, чтобы через два-три часа получить ответ. У нас нет времени. — Он прошептал ей что-то на ухо.

Валя от неожиданности остановилась:

— Для кого?

Он повторил и вопросительно взглянул на нее.

Валя задумалась.

— Знаешь что, — сказала она, наконец, — надо поместить его в доме твоих родственников в Финляндии. Там надежнее и лучше всего.

— Ты, пожалуй, права... Там хорошо... Но как это устроить? Родственники живут в 60 верстах от Петрограда, сразу туда не поедешь... Не использовать ли комнату тети Даши для встречи? А потом уже проехать туда.

— Верно... Ну, так я сейчас же поеду на Удельную и обо всем договорюсь с тетей Дашей.

В городе было пыльно и жарко. Дребезжали трамваи, по нагретым камням мостовых цокали копыта. Праздный народ заполнял улицы.

Ф. Быков

толпился в магазинах, сидел в кафе. Словно не было ни войны, ни революции и на фабричных окраинах не росло возмущение.

Зато в Удельнинском парке было тихо и прохладно, зеленела трава, щебетали птицы, и Валя невольно пошла медленнее. Потом опять заторопилась и через несколько минут уже стояла перед домиком тети Даши.

Старуха была дома одна и радостно встретила гостью.

— Валя, голубушка, вот порадовала. Я совсем измучилась печенью, болею, а все одна и одна. Муж с завода не выходит. Расскажи, что в городе, что говорят, нет ли новостей?

— Есть, тетя Даша, много новостей, но невеселые наши новости. Рабочих арестовывают, революционные полки гарнизона разоружают, большевиков преследуют.

— А правда, что Владимир Ильич Ленин скрывается?

— Правда, тетя Даша. По предложению товарищей Сталина и Свердлова, Центральный Комитет партии обязал Владимира Ильича уйти в подполье. А Временное правительство делает все, чтобы его арестовать.

— А как Караваяв, как Василий? — волновалась тетя Даша за товарищей мужа.

— Ничего. Они же меня к вам и послали.

Торопливо и обстоятельно Валя рассказала о цели своего прихода, но скрыла, для кого нужна комната. Тетя Даша охотно согласилась выполнить просьбу. Валя пошла обследовать путь от домика до вокзала. С почты она позвонила по телефону Василию. А когда вернулась в квартиру все уже было убрано, в котелке — начищенная картошка, на столе — хлеб, молоко. Пахло свежей березкой.

Наступил вечер, потом ночь. Откуда-то издали доносились переборы гармошки, лай собак, изредка раздавались шаги прохожих. Валя чутко прислушивалась к каждому шороху и сама не заметила, как задремала.

На рассвете постучали в окно... Но Валя так сладко спала, прислонив голову к косяку окна, что долго не могла проснуться. Стук повторился настойчивее. Она вздрогнула, вскочила, но все еще не могла притти в себя. Наконец, услышав условный пароль, побежала открывать дверь.

Во дворе она увидела Василия. С ним был человек, по внешности не похожий на Ленина, — так ей сразу показалось. Но взглядевшись внимательнее, она узнала Владимира Ильича. Валя немного подумала, потом три раза открыла и закрыла дверь и вышла во двор —

это был условный знак: все в порядке, можно входить.

Войдя в комнату, Владимир Ильич попросил не зажигать свет. Потом вышел в сени, снял парик, вымылся. Ему хотелось отдохнуть от грима, и он был спокоен, зная, что в темноте хозяйка не сможет разглядеть его лицо. Кроме того, свет лампы в такое раннее время мог привлечь внимание посторонних.

Смеясь и разговаривая, все уселись за стол, ели горячую картошку, пили кофе. Тетя Даша была рада, что гости довольны. Владимир Ильич ей очень понравился. Он сам наливал кофе, охотно с ней беседовал, расхаживал по комнате, расспрашивал о ее жизни... Советовал, какие лекарства надо принимать при болезни печени.

Пока разговаривали и ужинали, в комнате стало совсем светло. Владимир Ильич вдруг смутился и замолчал. По всей комнате на чисто вымытом полу видны были следы его сапог, намоченных от росы во время ночного перехода. Он уселся на скамейку и стеснялся сойти с места. Только сейчас он почувствовал, как промокли его сапоги. Ему казалось, что все уже давно заметили эти мокрые следы и, конечно, постеснялись ему сказать.

Но никто не обращал на них внимания, а тетя Даша обдумывала, как бы получше разместить гостей и дать им спокойно выспаться. Комната была маленькая, кроме кровати, стола и двух скамеек, мебели никакой не было.

Тетя Даша тихо подозвала к себе Валя и попросила помочь ей перебраться в чулан, а для мужчин приготовить кровать. Этот разговор не ускользнул от внимания Владимира Ильича. Он категорически отказался от кровати и убедил тетю Дашу спать на своем месте. Сняв мокрые сапоги и носки, он укутался своим пальто и улегся на полу, покрыв его старыми газетами. Несколько сборников журнала «Нива» послужили ему подушкой. Скоро он заснул.

Спустя полчаса Валя уехала в город получить в Центральном Комитете дальнейшие указания маршрута Ленина, а Василий остался на вахте.

После многих бессонных ночей Владимир Ильич спал крепко и долго. Далеко за полночь он проснулся, бодрый и отдохнувший, но ему не хотелось вылезать из-под пальто: вспомнились сырые сапоги и мокрые носки. Когда он уселся на своей импровизированной постели и осмотрелся, оказалось, что в комнате он один. Владимир Ильич протянул руку, взял носки и не поверил своим глазам. Хотел было положить носки обратно, думая, что это чужие, — они были выстираны и выглажены, но вдруг заметил,

что и сапоги его тоже просушены и до блеска начищены.

Забота и внимание рабочей семьи тронули Владимира Ильича до глубины души. Качая головой и мягко улыбаясь, он оделся и начал убирать свою постель. Постучали в дверь.

— Войдите, — сворачивая газеты, проговорил Ленин.

— Оставьте, оставьте, Владимир Ильич, — зачем вы это делаете? Я сама уберу все, — заторопилась вошедшая тетя Даша, Василий, стоявший за ее спиной в дверях, остолбенел. Лицо его стало похожим на спелый помидор.

«Откуда она узнала?» — подумал он.

Ленин, взглянув сначала на тетю Дашу, потом на Василия, на секунду задумался и, наконец, ответил:

— Здравствуй, товарищ.

Даша поняла, что ее слова были совершенно неожиданны, и разъярилась.

— Я ведь вас ночью узнала, Владимир Ильич, только молчала, потому что вас называли чужим именем. Смотрите, ведь я вас давно знаю, все время слежу за вашей жизнью, — с этими словами она достала из-под подушки кипу газет со статьями Ленина и его портретами.

— Спасибо, товарищ, — пожимая руку тети Даши, проговорил Владимир Ильич, — но ночевал у вас Константин Петрович Иванов — не забудете?

— Сегодняшний день я никогда не забуду, — дрожащим от волнения голосом, пожимая обеими руками протянутую руку, проговорила тетя Даша. — Можете быть спокойны, Константин Петрович, на рабочего человека можете положиться. Мы — народ фабричный, кое-что видели на своем веку.

Поздно вечером Владимир Ильич, поблагодарив тетю Дашу за гостеприимство, ушел с Василием на станцию.

Выйдя на улицу, Валя так была взволнована и охвачена гордостью, что ей казалось — она не идет, а летит на крыльях. Она чувствовала необыкновенный прилив энергии.

Валя не зря торопилась и волновалась. В ЦК ее ждали с нетерпением, ведь она должна была принести известия от Владимира Ильича.

Она рассказала все, что ей было поручено передать, и дополнила от себя, что Владимир Ильич находится в безопасном месте, где может спокойно отдохнуть.

Дальнейший маршрут Ленина был уже разработан товарищами Сталиным и Свердловым. Оставалось уточнить еще некоторые подробности. Из ЦК Вале послали к машинисту, который согласился на своем паровозе перевезти Владимира Ильича через границу.

Вале пришлось много побегать. Только к вечеру Орджоникидзе отпустил ее домой, чтобы она могла

приготовиться к отъезду. — Соврождать Ленина в Финляндию. Валя быстро собралась и пришла на Финляндский вокзал в назначенное время. В зале ожидания было много народа, суетившегося у билетных касс. Не успела она войти, как к ней подошел человек: «Разрешите вашу корзинку, вам тяжеловато ее нести»...

Валя вздрогнула от неожиданности, услышав слова пароя, но, взглянув в лицо человеку, заговорившему с ней, сразу успокоилась. Это был — Антон Караваяев. Валя охотно передала ему корзинку, так как действительно ей трудно было пробираться в толпе, а корзина была наполнена гостинцами: яблоками, пирожками, игрушками для детей.

Когда раздался гудок паровоза, Валя и Караваяев стали вглядываться в окна, рассматривая мелькавшие дачные домики. Поезд остановился. Караваяев моментально выпрыгнул на платформу. Валя высунула голову в открытое окно, напрыгая зрелие, следила, куда он пойдет, боясь, как бы не потерять его из вида. Он направился к перекидному мосту. Валя заволновалась. Она почувствовала, как горит ее лицо. На ступенях моста стоял Владимир Ильич и Василий.

Караваяев подошел к ним. Владимир Ильич обычным своим торопливым шагом сошел со ступеньки моста и направился к паровозу. Машинист, опытный подпольщик, провозивший уже не в первый раз за границу на своем паровозе большевиков, точно выполнил все, как было приказано. Он остановил паровоз под сводами моста, и здесь, пользуясь вечерней темнотой, Владимир Ильич, никем не замеченный, поднялся на площадку паровоза. Помощник машиниста не был предупрежден о том, что вместо постоянного кочегара поедет другой, новый. Машинист, здороваясь с Лениным и заметив удивление своего помощника, поспешил объяснить: «Этот товарищ будет сегодня пробу держать на кочегара».

Владимир Ильич, торопливо сняв пальто, повесил его на правую сторону, где мог вешать свои вещи только сам машинист. Помощник, хотя и был человек крайне флегматичный, все же быстро поднялся с места, желая указать новому кочегару, что вешать свои вещи на вешалку машиниста не полагается. Но, к его удивлению, машинист сам помог новому кочегару повесить его пальто. Тогда помощник подумал: «Эге, видно, родственничка устраивает. Разве позволял бы он постороннему человеку пользоваться своей вешалкой? А сейчас только улыбается».

В этот момент Ленин нечаянно наступил на педаль — и с лязгом раскрылось туровочное отверстие. Он отступил назад — тогда с еще большим лязгом сомкнулись заслонки. Этот механизм очень понравился Владимиру Ильичу. Машинист стал разъяснять ему назначе-

ние механизма. Он показал, как кочегар, поднося дрова к топке, наступает на педаль, механически раскрывается топка; кочегар снимает ногу с педали — топка закрыта. Владимир Ильич тотчас же засучил рукава и стал выполнять работу кочегара. Когда топка была наполнена, машинист, смеясь, сказал: «Ну, а теперь возьмите резак и пошуруйте»...

Ленин, конечно, не знал, что такое «резак» и стал внимательно осматриваться кругом. Он быстро нашел резак, надел рукавицы, затем принялся шуровать в топке. Хотя он и был занят работой, он все же заметил волнение машиниста, возраставшее по мере приближения к Белоострову. Владимир Ильич великолепно понимал, как рисковал машинист, приняв на паровоз постороннего человека; он всячески старался отвлечь внимание машиниста от беспокоивших его мыслей и настойчиво расспрашивал о назначении арматуры паровоза. Машинист охотно объяснял любопытному кочегару всю технику управления.

Энергично подбрасывая дрова и знакомясь с паровозом, Ленин занял внимание машиниста так, что тот и не заметил, как пролетели 45 минут от Удельной до Белоострова.

Машинист дал гудок и, напряженно вглядываясь вперед, обдумывал план действий. Он остановил поезд на несколько метров дальше обычного и стал рассматривать, что делается на станции. Вдруг лицо его сразу покрылось краской. Он заметил на платформе множество пограничной стражи и таможенных чиновников, которые быстро бросились к вагонам.

Наступил самый тревожный и ответственный момент. Оставалось пятнадцать минут стоянки, но это были самые страшные минуты. Здесь должно было произойти самое главное — переход границы.

На платформе машинист заметил и сразу узнал знакомые фигуры Караваяева и Вале. Они тоже смотрели в его сторону, как бы спрашивая: «Ну, как? Что делать дальше?» Уж очень недвусмысленно и энергично суетилась стража. Было ясно, что обсык будет произведен самый тщательный, словно шпики догадывались, что в этом поезде находится Ленин.

Тогда у Караваяева возникла мысль. Он быстро повернулся к Вале и изо всей силы ударил по корзине. Корзинка вылетела у нее из рук. Яблоки, пирожки, игрушки покатались во все стороны. Валя только вскрикнула от неожиданности и отступила.

Это происшествие привлекло внимание стражи. Машинист, следивший все время за Караваяевым, сразу же понял его маневр. Немедленно воспользовавшись общей суматохой, он отцепил паровоз и угнал его к водокачке.

Вокруг Караваяева собирался народ. Кто-то схватил его за руку.

Двое из стражи и какой-то господин в котелке, прижав его к вагону, требовали объяснений.

Караваев не знал, что ответить. Но раздумывать было некогда. И он, сжимая кулаки, закричал: «Пусть отдаст мою получку. Не ее дело, куда я расходу деньги...».

Валя изумленными глазами смотрела то на Караваева, то на Василия, который все время возмущался, натравливая стражу на Караваева, прося их вмешаться и защитить обиженную женщину.

Толпа шумела. Люди уже спорили друг с другом. Стражники пытались теперь навести общий по-

рядок. Маневр Караваева удался. Он выиграл время и отвлек внимание от главного.

Раздался третий звонок, и только в этот момент с грохотом подошел паровоз. Опережая друг друга, люди бросились к вагонам. Поезд быстро стал набирать скорость. Граница осталась позади.

В вагоне пассажиры сочувственно передавали Вале подобранные на платформе игрушки и яблоки. Валя благодарила, но ее это мало интересовало. Только теперь она поняла, что произошло, и с преданностью посмотрела на Караваева. Она хорошо понимала, какая угро-

за нависла над ними там, на станции, и какую роль сыграл Караваев. И то, что он грубо вышиб у нее из рук корзинку, не предупредив, внезапно, она воспринимала сейчас, как настоящее доверие. Значит, он надеялся на нее:

Она встретила с ним взглядом. А Караваев подошел к ней и, отставив корзину в сторону, крепко сжал Валя за плечи:

— Молодец! Спасибо.

Валя смутилась. Но на душе ее было хорошо, и она была очень довольна, что с честью выполнила первое поручение.

Анатолий Чивилихин

Перед прорывом

(Из поэмы «Битва на Волхове»)

...Здесь на реке неторопливой
Смоленный челн стоит под извой,
Столкни его, за весла сядь,
Плыви сто верст — речная гладь
Тиха, светла, невозмутима.
Леса, деревни, пашни мимо.
Но слушай, слушай: шум глухой
Все нарастает, словно ропот.
И вот уж нет былин. Есть опыт.
Нет Китежа. Есть Волховстрой.
Он встал, как новых дней основа.
И ты, челна направив бег,
Вдруг из десятого, лесного
В двадцатый попадаешь век.
Пусть волны, злобясь, ропщут

хором.

Бетон стоит под их напором.
Над ним созвездий новых свет.
И тут же рядом лес, в котором
Каким-то чудом леших нет.

Таков он, этот край унылый,
Где, всем невгодам вопреки,
Мы против силы встали силой
Вдоль мутной северной реки.
Фронт. Человек забыл о страхе.
Среди болот, лужков, дубрав
Застыли дзотов черепахи,
Головки злобные вобрав
Под панцыри. Куда ни ступишь —
Вмиг жижей заплывает след.
Пушенка немцу кажет кукиш
На речи громкие в ответ.
Здесь пулеметы спозаранку
С врагом вступают в перебранку
И хлещут чужака в ночи
Свинца свистящие бичи.
Здесь говорят о смерти редко,
Все больше дождь клянут да грязь.

Фронт. Здесь недолго стать
горбатым —
Вставать отвыкли в полный рост.
Здесь по соседству с медсанбатом
Так обязателен погост.

Здесь просто все — дела и мысли,
Будь ты боец или комдив,
Здесь пушки рошу всю изгрызли,
Две-три березки пощадив.

...Леса, леса. В землянке штаба
У писаря свой интерес:
Паук размером чуть не с краба
Клешней в чернильницу залез,
Гонимы холодом осенним,
Жилища потеряв свои,
В конверт со спешным донесеньем
Опять набились муравьи.
На карте жук подобен танку
Ползет от Грузино на Званку.

Фронт. Стая поднялась воронья,
Знать фыркнул миномет

спросонья,

Как будто отмахнулся. — На!
Возьми. И снова тишина.
Но тот, кто побыл здесь, едва ли
Забудет и на склоне дней
О битвах, что порой бывали
Иных прославленных грозней.
Они забудутся не скоро —
Сраженья у Мясного Бора,
Под Киришами, подо Мгой,
У Спасской Полисти, у Званки
И на безвестном полустанке,
Как на арене мировой.

...Всего не вспомнишь и не надо.
Все в свой припомнится черед.
Уж год как прорвана блокада
И поезд, крадучись, идет
По узкой полосе прорыва.
Бьет в окна яркий лунный свет,
И пассажиры молчаливо
Ждут — обстреляет или нет?
И на военных смотрят косо,
Но боль упрека так горда,

Что не последует вопроса —
Когда ж избавите, когда?
И тяжелее нет укора,
Чем этот взгляд усталых глаз,
А что ответишь? «Скоро, скоро»
Они слышали столько раз.

И вот обычный день, недолгий,
Январский. В рощице с утра
Пощелкивают снайпера,
И жжет им щеки иней колкий.

...Идет обычная работа.
Через подмерзшее болото
В разведку двинулся отряд,
И пушки, выстроившись в ряд,
На дальний берег смотрят строго:
Тихони — помолчат немного
И разом вдруг заговорят.

Ползут обозы по низинам,
И там, где лес пропах бензином,
Сидят шоферы у костра
И терпеливо ждут заправок.

Никто не ведает, что в Ставке
Уж произнесено: Пора!
Пора! В коротком этом слове
Отныне все заключено.
Войскам, стоящим наготове,
Не раз мерещилось оно.
Так было в тот денек осенний,
Когда пяток — другой полков
Без всяких лишних объяснений
Вдоль фронта двигал Мерецков.
Как будто бой затеял где-то,
Какой-то там замыслил план,
Чтоб... приглядеться: как на это
Посмотрит завтра Линдеман.
А что коль снова в том же роде?
Но, нет. Уж танки на подходе;
Знать, сеча громкая близка,
Каких давненько не бывало.
И в нетерпении ждут сигнала
К боям готовые войска.

...Верхушки сосен чуть дымились.
Рассвет был беспечально тих,
Когда сердито фыркнул «Виллис»,
К лесной избушке подкатив.
Вильнул назад и в пень уперся.
И, не спеша, на мятый снег
Не по-вельможному, без форса
С портфелем вышел человек.
И вновь сидят в избушке двое,
О ком еще шуметь молве,
Их совещанье деловое
Минуту длилось или две.
Не зная взвинченности нервной,
Что людям свойственна порой,
«Готов начать»

,
промолвил первый,
Кивнул в ответ ему второй.
Чай из остывшего стакана
Отпил глотками,
вскрыл портфель.

И были крылья урагана
Уже развязаны теперь.
Вмиг осветив кустарник мелкий,
Резную елочку, ветлау,
Огонь веселой, легкой белкой
Запрыгал от ствола к стволу,
Метнулся от кустов к окопам,
На десять верст леса зажег,
И тысяча снарядов

скопом
Смертельный сделала прыжок.
И грудью лес вздохнул могучей.
И рощи ахнули не врозь.
Боец, припав к земле на случай,
Соседу крикнул: — Началось!



Редко когда вспоминал свое прошлое Федор Васильевич что его вспоминать! Оно себя изжило: нужно нынешним жить, да о завтрашнем дне больше думать, — а теперь стал жить только прошлым. И обрывалось оно, это прошлое, на вчерашнем дне, на шести часах вечера.

Теперь вспоминал свою собственную двадцатилетнюю пору, свою молодость, и сравнивал ее с молодостью сына. с его двадцатью годами. Видел разницу, видел общее. Перебирал сыновнюю жизнь день за днем.

Вот бежит он босонгим мальчишкой с нанизанными на нитку рыбешками, с камышовой удочкой, перекинутой через плечо; вот слышны его шаги — дробный стук конышков по деревянному полу в сенцах, и входит он в комнату — запыхавшийся и покрасневший от мороза... Насупившись, сидит за столом и решает задачу: купили орехов разных сортов и смешали их...

А задача-то не очень просто решается, и досадует Гриша, сын:

— Купили... смешали... и зачем это нужно было мешать?

Сидел Федор Васильевич и перебирал теперь отжитое.

А какой день был девятнадцатого декабря, ровно месяц назад, когда, после долгого перерыва, пришло от Гриши письмо, в котором он сообщал о полученной им награде. Всем знакомым и незнакомым готов был показывать это письмо Федор Васильевич и, принимая поздравления, крепко жал людям руки, благодарил, словно это он сам получил орден Славы.

— Молодец!.. Молодец он у вас. — Ну!.. Ведь Гриша же! — отвечал Федор Васильевич и этим, ему казалось, объяснял уже все.

И вчера было письмо с первой утренней почтой. Сын писал: «Подходим мы близко к самой немецкой границе и теперь скоро вступим в самое их немецкое логово. Ты там за сводками, за нашим 3-им Белорусским следы. По радио слушай, как о взятии первого немецкого города Москва будет салютовать. Запомни первый этот город, отец, потому что от него, от первого этого и до самого последнего будет нам уже недалече»...

А вечером принес почтальон другое письмо. В этом письме извещали Федора Васильевича боевые друзья его сына, каким гвардии сержант Григорий Федорович Иванов был хорошим бойцом и товарищем, смелым в бою, верным в дружбе. И что в день, когда пишется это письмо, похоронили Григория с должными воинскими почестями, как героя, около самой границы.

Петька, младший сынишка, — Петух-грамотух, — с улицы прибежал.

— Сейчас опять важное сообщение будут передавать... Ты чего же радио не включаешь?

Сунул Петька вилку провода в штепсель, и позывные огласили комнату легким и мелодичным перезвоном.

КАМНИ

Евгений Люфанов

— Говорит Москва... говорит Москва... — донесся из репродуктора знакомый голос диктора и доходил до Федора Васильевича будто отдельными кусками. — Приказ Верховного Главнокомандующего. Командующему войсками... при поддержке массированных ударов... прорвала долговременную, глубоко эшелонированную оборону немцев... В ходе наступления войска фронта штурмом овладели укрепленными городами Пилькаален, Рачнит.

— Пилькаален... Рачнит... — прошевелил губами Федор Васильевич. — Пилькаален.

— Первые немецкие города, — громко сказал Петька. — Наш Григорий, наверно, там...

Прозвучали куранты со Спасской башни. Петька подошел к отцу, тронул его за плечо.

— Папаш... А, папаш... ты чего?

Послышался удар кремлевских часов, и вслед за ним приглушенно прокатился залп салюта.

.. Работал Федор Васильевич камнетесом. Для облицовки набережной обтесывал и шлифовал гранитные глыбы.

После бессонной ночи, воспоминаний о прожитых Гришей двадцати его коротких годах Федор Васильевич пошел на работу, а Петька стал собираться в школу. У обоих глаза припухшие, покрасневшие; у обоих стоит в горле ком и спирает дыхание.

И все это прошлое — неотступное, неизбывное Гришино прошлое — в мыслях у Федора Васильевича, и упирается оно во вчерашний день, в шесть часов, как в тупик.

То глухо, то остро до боли тукает молоточками в висках, точно норы раздробить отягченную думами голову. Искристой звонкой окалиной осыплются под ноги Федору Васильевичу мелкие осколки от камня, выгрызает зубило неровности, скальвает выпирающие углы гранитной плиты. Руки словно отдельно живут, занятые привычным им делом, а мысли птицами кружатся над границей ненавистной немецкой земли, отыскивая на ней свежий могильный холм. А там, за этой границей — Пилькаален...

— Запомни первый этот город, отец... — как наказ, вспоминаются слова сына. Федору Васильевичу кажется, что и ударяющий по зубилу молоток и упруго скользящее по граниту зубило выговаривают вместе с ним: Пилькаален, Пилькаален...

Из школы Петька побежал к отцу на работу.

— Папаш!.. А я к тебе, папаш, торопился... Как ты тут?.. Что? — Скользнул Петькин взгляд по гранитной плите, над которой работал отец, и прочитал высеченное на ней слово: — Пилькаален...

Последнюю букву только-что начинал высекать Федор Васильевич, когда прибежал к нему сын.

— Что это, а?... Что такое?

— Молчи, Петька, молчи...

Он посадил Петьку рядом с собой и, свертывая папиросу, сказал: — Ты мне, Петух-грамотух, подсоби... я тут дело надумал...

На следующий день по центральной городской площади шли люди и с удивлением останавливались перед двумя гранитными плитами с высеченными на них названиями немецких городов: Пилькаален, Рачнит.

Вечером передавали новый приказ, и на следующий день пять новых больших камней появились на площади, рядом с первыми. Глубоко были врезаны в камни слова: Тильзит, Гросс Скайгиррен, Ауловенец, Жиллен, Каукемен.

Когда в третий раз, поздним вечером, три битюга, запряженные в дровни, привезли на площадь еще пять камней, милиционер подошел к Федору Васильевичу и недоуменно спросил:

— Что это вы возите все?... Для чего?..

Федор Васильевич посмотрел на стоявшие камни, на привезенные вновь, мысленно прикидывая, как их расположить, и скупно ответил:

— Для памятника.

— Для памятника? А кому, отец, памятник-то?

— Всем, — сказал Федор Васильевич.

О сооружаемом на площади памятнике скоро узнал весь город. Федора Васильевича разыскали комсомольцы, пришли к нему в сарайчик на пустыре и сказали:

— Товарищ Иванов... Дядя Федор... будем тебе помогать.

Передавались приказы, и Федор Васильевич высекал на граните все новые названия немецких городов.

Овальные, остроугольные, разной формы, величины и оттенков, отливной стеной громоздились цементированные один с другим гранитные камни. На них высечены названия немецких городов.

Уже не в сарайчик на пустыре, а сюда же на площадь приходил каждое утро Федор Васильевич, услышав накануне новый приказ.

— Высекаешь, Федор Васильевич?

— Ага, — кивал он головой и ударял молотком по зубилу.

Камнетесы — товарищи по работе, комсомольцы, бойцы поднимали наверх прямоугольную глыбу, на которой высек Федор Васильевич слово: Берлин.

— Дядя Федор!.. А, дядя Федор!.. — теребили Федора Васильевича ребята-школьники. — А на самом веру?..

— А на самом веру, — раздумчиво повторил Федор Васильевич, — мы, сынок, фигуру твоего батьки поставим. Или — брата, понял? У тебя кто на фронте-то там?

— Батька, да.

— Ну, вот, видишь... Значит, горю, фигуру твоего батьки поставим, бойца... Поставим в полном боевом снаряжении.

З А Б Ы Т Ы Й А Д Р Е С

Коньков нашел записную книжку. Все страницы ее были белые, чистые, незаполненные, за исключением одной. На этой странице был написан удивительный адрес: «Баргузинский лес, соболиный заповедник. Аграфене Мисиркеевой». Будто Аграфена жила прямо в лесу под открытым небом или, как зверек, в обгорелом дупле. Кроме адреса, в записной книжке хранилась фотография девушки с узкими, чуточку косыми глазами. В зубах у нее была зажата трубка, сделанная из ветки, а рядом с девушкой стоял карапуз лет шести-семи, в рубашонке, видно, братишка, и тоже курил.

На оборотной стороне карточки была надпись: «И. Хариузову от Груни».

— Ну, Хариузов, у тебя и местность, если даже незамужние девушки и грудные дети — курящие. Есть ли там хоть один некурящий? — сказал Коньков, обращаясь к владельцу записной книжки, словно тот был здесь и мог возразить.

«Не тот ли это Хариузов, — подумал Коньков, — который лежал со мной в одной палате в 1943 году: Хариузов — фамилия редкая. Конечно, тот».

Коньков усмехнулся воспоминанию. Этот Хариузов уверял, что у них местность не такая, как другие. В других местностях реки холодные, не говоря уже о ручьях. А в их местности протекает ручей, в котором в любое время можно заставить горячую воду и воду эту не скипятили где-нибудь в кипятилке сторожики, а она естественная вода, течет из-под земли, так что чаем можно напоить не только роту, но и фронт, а воды все равно не убудет.

— А зимой как? — интересовались раненные. — Тоже горячая?

— Сунь руку, опшаришь. Хоть суп вари. Только на земном шаре нехватит продуктов.

Раненные, разумеется, не поверили, но из вежливости не возражали.

— Бывает. У нас вон в Крыму гора шаталась во время землетрясения, как сонная. Но ничего, не упала. На земле чудес хватает.

Коньков посмотрел еще раз на записную книжку и подумал: «Может, еще встретимся с Хариузовым. Отдам».

Было это под Варшавой двадцать первого сентября, а на другой день Конькова ранило осколками мины в голову и ногу. Ногу ему в госпитале отрезали, рана на голове закрылась, заросла, но память, особенно на цифры и имена, ослабла до того, что надо было записывать даже такой пустяк, как фамилия врача или соседа по койке.

Коньков очень беспокоился, что бы как-нибудь не затерялась най-

Рассказ

Геннадий Гор

Рисунок А. Якобсон

денная им записная книжка, где был записан адрес. Держал он эту книжку под подушкой, и ему казалось, что адрес и есть самое дорогое, что было у него на земле, словно это был адрес его семьи, а не косоглазой незнакомой девушки, которая, как старик, курила самодельную некрасивую трубку. А когда пришло время выписываться из госпиталя, Коньков подумал: квартиры у меня нет. Деревню Ходыни, Гомельской области, немец спалил еще в 1941 году, семья погибла, не исключая иждивенца слепого дяди и всех соседей, куда же мне податься?

И то ли записная книжка своим интересным адресом поманила его, как огонек в окне, то ли мечта сжилась с ним, с этим адресом, но Конькова потянуло туда, где даже слабые дети курят крепкий табак, а в лесу бегают зверек величиной с ладонь, но который даже в мирное время стоил дороже, чем корова и лошадь. Но для того, чтобы взять литер на поезд, надо указать точный адрес, конечную станцию, а в записной книжке сказано: Баргузинский лес. Лес же понятие растяжимое. Писарю — что? Он напишет в литере: лес. Но на вокзале в билетной кассе барышня посмотрит в книгу и скажет:

— Такой станции нет. Куда вам, собственно, надо?

Коньков подошел к большой географической карте, висевшей в клубе. Не сразу он нашел озеро Байкал и тоненькую, как жилку, реку Баргузин. Сюда и надо просить литер.

В поезде Коньков устроился хозяйственно на третьей полке, часа три спал, проснулся и рассказывал о Польше пассажиркам. Пассажирки угостили его черемухой, купленной на станции.

— Я думаю, это вишня, — попробовав терпкую ягоду, сказал он и рассмеялся, но, чтобы не обидеть женщину, съел все до одной. Подошел к окну, чтобы выбросить косточки. За окном был лес угрюмый, неподвижный, похожий на корягу, окутанную тиной, которую вытаскивали из воды. На сердце стало неуютно, беспокойно, но Коньков подумал:

«Солдату — что? Солдату везде дом и уют».

И полез к себе на верхнюю полку. Спать не хотелось. Достал записную книжку Хариузова и стал ее рассматривать. Но, странное дело, той страницы, где был записан адрес, не оказалось на месте. Стран-

ница выпала, или по ошибке он сам ее оторвал невзначай.

Коньков стал вспоминать, но никак не мог вспомнить названия леса.

«Ничего, — подумал он. — До Байкала еще далеко. Вспомню».

Ворочаясь на полке, он вспоминал Хариузова — как они лежали вместе в госпитале. Однажды к ним в палату пришел старичок и слабеньким голоском стал читать лекцию о звездах и межзвездных пространствах. Почему он читал — раненные не знали, но слушали внимательно.

— Вопросы есть? — спросил старичок, застегивая портфельчик и, видимо, собираясь уходить.

— Имеются, — крикнул с койки Хариузов. — А скажите, доят ли бабы коров, стряпают ли пельмени, то-есть в настоящий момент?

— Где? — спросил старичок.

— Известно — где. На звездах, — и рассмеялся.

Коньков улыбнулся воспоминанию, нагнув голову и посмотрел в окно. За окном попрежнему был лес унылый, застывший, ржавый, словно поезд стоял на одном месте, а не бежал на восток. Коньков подумал: вот именно такой лес представлял он себе, когда старичок рассказывал о звездах и планетах и о том, что не исключена возможность, что на некоторых из них есть леса и реки. Старичок и сейчас читает свои лекции о звездах в опустевших госпиталях и спрашивает — есть ли вопросы. Вопросы, возможно, есть, но нет там Ваньки Хариузова, чтобы спросить лектора — доят ли на звездах коров, справляют ли свадьбы? Может, Хариузова давно уже нет в живых?

И Коньков опять усмехнулся, но не воспоминанию, а себе: вот он помнит лектора-старичка и даже его портфельчик (а сколько приходило в госпиталь лекторов и артистов), помнит и Хариузова и его слова, а простое название, адрес забыл и не может никак вспомнить.

Коньков снял протез, чтобы удобнее было лежать, и положил его в сторонку, но лежать все равно надоело. Он слез с полки и подошел, подпрыгивая на одной ноге, к окну. За окном опять был лес. Поезд кидало из стороны в сторону. Казалось, он не бежал, а хватал деревья, столбы, землю и отшвыривал их в стороны прочь, так быстро летел на восток поезд. Радостное ощущение быстроты, с которой ускользало пространство, захватило на миг Конькова и смешалось в его душе с грустью: ехал он не домой, а куда-то, он даже не мог назвать то место — куда, и, чем быстрее бежал поезд, тем быстрее приближалась конечная станция, до которой у него был билет, стан-



ция «Байкал». А там ему надо будет сесть на пароход и плыть через светлое бездонное озеро к незнакомому берегу.

— А что об этом думать? — сказал Коньков про себя. — Солдату везде дом. Были бы руки.

Поезд хватал сосны, ели, станционные домики, поля и отбрасывал их прочь в прошлое. Коньков подумал, что и жизнь чуточку тоже по-

хожа на поезд, она отшвыривает все в прошлое, в стороны, назад, стремясь вперед, но человеческое сердце и память, как крепкая ладонь, держит пережитое у себя, и вот он, Коньков, может вспомнить все, что было ужасного и веселого в его жизни, может вспомнить жену, детей, слепого иждивенца-дядю, которого расстрелял немец, войну, но удивительная вещь — челове-

ская душа, все сейчас далеко, далеко от него, смутно, кроме одного случайного человека, с которым он однажды лежал в госпитале, будто не было на земле никого ближе и знакомее Хариузова.

Коньков чуть не рассмеялся. Вспомнился ему один разговор в госпитале.

— Девицы у нас красивые, — хвастался Хариузов. — Поцелует те-

бя наша девица, а изо рта у ней лесом пахнет. Будто кедровую шишку с орехами кто раздавил.

И Хариузов вытащил из-под подушки письмо.

— Прямо смех с ними. Парней-то нет. Так пошли сами соболевать. Капканы расставили. Да одна девица по ошибке сама в капкан попала вместо соболя-то. Загляделась.

Нога устала стоять, и Коньков присел на краешек нижней полки рядом с пассажирками. Стали говорить о том, кто куда едет. Пассажиры ехали кто далеко на Дальний Восток, а кто и поближе — до Иркутска или до Улан-Удэ.

— А вы далеко ли едете? — спросили они Конькова.

— Я, — ответил Коньков с грустью. — Забыл — куда.

Пассажиры подумали, что он шутит, но удивились выражению его лица, которое противоречило его словам.

— Нет, серьезно, куда вы едете? Может, в одно место с кем-нибудь из нас?

— Может, в одно, — ответил Коньков. — Вы обождите, когда я вспомню название того места, куда я еду. Уже второй день вспоминаю, но никак не могу вспомнить.

— Мы вам серьезно, — обиделась одна пассажирка, — а вы смеетесь.

Но другая заступилась за Конькова.

— А что, если у него память зашибло снарядом и он серьезно нам говорит?

Но тут Коньков рассмеялся весело, беззаботно и сказал:

— Да, нет, я шучу. Просто не хочется говорить — куда. Возможно, это военная привычка. У военных не принято называть то место, куда они едут.

И, чтобы не говорить уже больше на эту тему, подошел к окну и посмотрел. За окном опять был лес, но уже другой, еще более древний, неприветливый, пустынный. И Коньков подумал: неужели в этом лесу живет девушка, снятая на карточке вместе с курящим ребенком? Если в таком лесу, то и понятно. В таком лесу и новорожденный в колыбели захочет курить.

Сам Коньков не курил, но относился к курящим терпимо, понимая причину этой привычки.

Коньков забрался к себе на верхнюю полку и уснул. Проснулся он, разбуженный громким смехом. Смялись пассажирки, что-то рассматривая. Коньков поинтересовался: пассажирки рассматривали какую-то фотографию. Уж не я ли обронил? — подумал Коньков. И словно его мысль угадали пассажирки на нижней полке.

— Это не вы, гражданин, обронили? Вот тут девушка курит трубку и ребенок.

— Я, — Коньков протянул руку за карточкой.

— Интересная собой, — сказала одна пассажирка. — Знакомая вам?

— Невеста, — соврал Коньков, чтобы не рассказывать о том, как он нашел записную книжку с адресом, поехал по этому адресу, но адрес потерял и никак не может вспомнить. Все равно никто бы не поверил.

— Невеста? А зачем же она курит трубку? Да еще ребенка развращает, позволяет ему курить. У него легкие еще не окрепшие. Разве можно?

— Да, — согласился Коньков. — С ее стороны это не совсем хорошо.

Пассажиры стали возмущаться, шуметь, и шум их привлек пассажиров из соседних купе. Они приходили, и каждый брал карточку и рассматривал, спрашивал:

— Кто это такая?

— Невеста военного, который демобилизовался по случаю утери ноги и сейчас возвращается домой, — отвечали те, кто уже знал, указывая взглядом на Конькова, который попрежнему лежал у себя на верхней полке.

Позже всех пришла девушка с ленточками от двух орден, чуточку узкоглазая и немножко чем-то похожая на ту, что была на фотографии, но интеллигентная, и она тоже поинтересовалась:

— Кто это такая и почему курит трубку?

И на ее вопрос ответил уже сам Коньков:

— Это моя невеста. А почему курит трубку, это я затрудняюсь сказать.

— А вы не выдумываете, что это ваша невеста? — спросила пассажирка с ленточками от двух орденов.

— То-есть как это выдумываю? — возмутился Коньков.

— Очень просто. Потому что эта девушка — я. А я вас не знаю и первый раз вижу. Как моя фотокарточка попала к вам?

Коньков покраснел и слез с полки. Пассажиры смотрели на него подозрительно. Тогда он вытащил из бокового кармана записную книжку и рассказал, где и когда он ее нашел вместе с фотокарточкой и странным адресом и в каком году он лежал в госпитале вместе с бывшим владельцем записной книжки и как он поехал по этому странному адресу, потому что ему все равно, куда ехать, деревню его сжег немец, семью и знакомых расстрелял, а что это невеста, он сказал ради экономии, чтобы не тратить зря слова и не рассказывать напрасно эту историю.

— Поняли вы меня? — спросил в заключение Коньков.

Пассажиры кивнули, а девушка рассмеялась, но на глазах у нее были слезы.

— Простите меня, — сказала она, — Хариузов, вы этого не знали, погиб. А я возвращаюсь из Москвы с конференции специалистов пушного дела. Что касается адреса, можете его и не вспоминать. Вы едете ко

мне. А я хорошо знаю свой адрес и, наверно, сумею вас доставить в свой лес.

Она посмотрела на фотокарточку и еще раз рассмеялась.

— Трубку я не курю. Это я взяла ее у бабушки для снимка. Чтобы снимок был веселее. Братиска тоже не курит, а трубка у него в зубах не настоящая, игрушечная. Курит только бабушка. Она у меня тунгуска. А старые тунгуски еще курят трубки. Может, когда я стану старая, тоже буду курить трубку.

И она снова рассмеялась и посмотрела уже не на свою фотографию, а на Конькова — просто, словно она знала его давно.

На станции «Байкал» они оба — Груня Мисиркеева и Коньков — сошли с поезда и сели на паром. Вода в озере Байкал была прозрачная, как в ручье, светлая, и взгляд уходил глубоко, ища дна, но дна не было видно, может, в этом месте озера совсем не было дна? Коньков хотел сказать об этом Груне, а также о своей грусти и что раньше он грустил потому, что ехал по удивительному адресу, к незнакомым людям, а сейчас ему грустить нечего, но на душе у него странное, незнакомое чувство, может, потому, что он стоит на покачивающемся пароходе, а под паромом озеро, у которого вопреки всем законам природы почти нет дна, но почему-то только усмехнулся и не сказал этого, а сказал другое.

— Знаете, когда я прочел ваш адрес, я подумал, что вы живете в дупле.

Груня рассмеялась.

— А что? Это верно то, что вы сказали. Живу я хотя и в доме, но мысль моя и забота в лесу и даже в дупле возле соболя. Не забудьте, что я специалист по пушному делу.

И, словно отгадав мысль Конькова — что же он в этом краю будет делать, когда он даже не бывал ни разу в Зоологическом саду и не видел никаких зверей, кроме зайца, она сказала:

— Это ничего. Из вас мы тоже сделаем пушника.

Коньков посмотрел и удивился. Воздуха словно не было, и взгляд уходил далеко, далеко, словно в этой местности законы природы были не такие, как в других краях, взгляд уходил в пространство, и были видны горы сине-зеленые над зелено-синей водой, и оттого, что взгляду было просторно, просторно было и на душе.

На другой день паромостановился возле берега — взять дрова. Груня и Коньков вышли на берег пройтись, пока грузчики будут носить дрова и бросать их в лок. На берегу в лесу журчал ручей, камни в нем были коричневые, Коньков наклонился, чтобы попить, и обжег себе губы. Вода в ручье была горячая.

— Значит Хариузов говорил правду, — подумал Коньков и взял Груню под руку.

ХУДОЖНИК И СТАТУЯ

Посвящается А. П.

Елена Катерли

Рисунок Н. Петровой

Художник хотел увидеть город с крыши Зимнего дворца. — Оттуда я увижу перспективу Невы, мосты и Петропавловскую крепость, — сказал он товарищу. — Я нарисую панораму набережных и тот округлый выступ, который называют Стрелкой Васильевского острова. Тебе не кажется, что сверху этот выступ должен напоминать грудь корабля, врезающегося в море, а ростральные колонны — поднимающиеся к небу мачты?

Вечером художник долго бродил вокруг дворца. По краям крыши, четко выступая на светлом фоне неба, стояли статуи. Одни из них держали венки и лиры, у других руки бессильно опускались вдоль тела, а третьи кутались в широкие складки своей мраморной одежды. Они стояли там много десятилетий и видели все то, что хотел нарисовать художник.

На следующий день художник взобрался на крышу Зимнего. Он сел на каменной балюстраде возле статуи, глядя на растянувшийся внизу город. Нева отсюда напоминала гладкую полосу жести, а стрелка Васильевского острова отнюдь не походила на грудь корабля — она казалась террасой, полого спускающейся к реке.

Художник задумался, опустив альбом на колени. Он хорошо знал свой город и много раз рисовал его. Он помнил наизусть узоры всех его решеток, он в самые темные ночи узнавал дом по какому-нибудь смутно видимому балкону или по силуэту дерева, он мог, сидя у себя в мастерской, безошибочно нарисовать любую площадку со всеми ее зданиями.

А вот сегодня, глядя вниз, он хотя и узнавал очертанья своего города, но не мог сделать ни одного штриха в альбоме. Ему почему-то было немножко грустно и одиноко, и карандаш беспомощно лежал на белой странице, и тень от него делалась все толще, потому что солнце уже садилось.

— Зачем ты теряешь напрасно время? — услышал он вдруг невнятный шопот. — Рисуй скорей! Светлый Феб скоро уведет свою лучезарную колесницу, и ты ничего не будешь видеть в ночном мраке. Не медли — разве мало бес смертной красоты вокруг тебя?

Художник поднял голову, и ему показалось, что статуя чуть шевелит мраморными губами. Ее лицо оставалось таким же неподвижным, и руки все так же устало держали вечно молчащую лиру, но мраморные губы статуи как будто приоткрылись, и голос ее был похож на сухой шелест ветра.

— Нарисуй город и меня, как символ его вечности, — шептала статуя. — Ты художник и должен знать, что только произведения ис-

кусства не умирают. Рисуй же скорей, пока светит солнце!

— Я сам не знаю, почему не могу рисовать сегодня, — жалобно сказал художник. — Может быть, у меня разбегаются глаза оттого, что я вижу сразу так много?

— Смотри на меня и на облака, проплывающие над моей головой, — прошелестела статуя. — И на самое старинное здание, вон на том берегу — здание с высокой колоннадой и с лестницей, расходящейся, как два крыла. Нарисуй меня, и Неву, и это здание, и облака над нами, — и это будет настоящее произведение искусства.

— Это будет, пожалуй, слишком академично, — смущенно сказал художник. — Я мог бы, конечно, нарисовать тебя, но ты и так уже произведение искусства, зачем же повторять его в рисунке?

— Но ведь ты хотел нарисовать город, а то, что я тебе предлагаю, и будет символом неумирающего, вечного города.

— Да, я хотел нарисовать его, — ответил художник, — но я никогда не рисовал только город. Я рисовал населяющих его людей и город вместе с людьми и в этом сочетании находил и постигал его. А отсюда я не вижу людей — только маленькие черные фигурки.

— Людей! — презрительно сказала статуя. — Люди возникают и исчезают, а города, подобные этому, остаются даже тогда, когда люди покидают их. Ты можешь, наконец, сделать город фоном для меня.

Художник взял нагретый солнцем карандаш и начал неуверенно

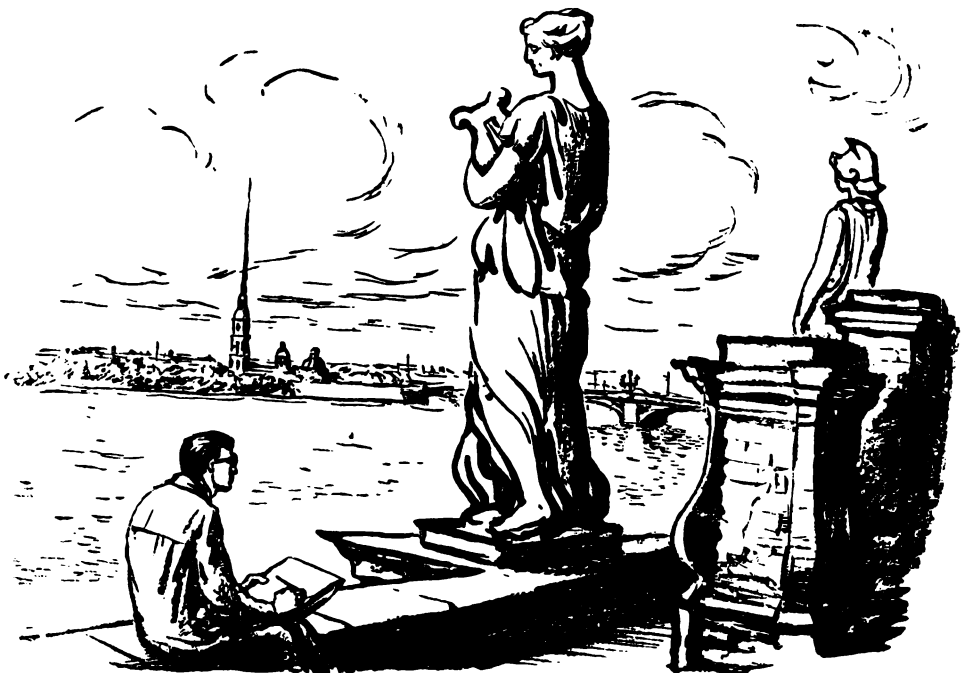
набрасывать в альбоме силуэт статуи. Может быть, она, действительно, была символом города? И потом — статуя очень легко было рисовать — она не шевелилась.

Но именно поэтому рисовать ее было скучно, и художник начинал на нее сердиться. Как могла она говорить, что олицетворяет собой город, лицо которого менялось, как лицо человека? Разве не видел он тот же самый город то скорбным, то гневным, то ликующим? Разве город не умел хмуриться и улыбаться? Он был живой и поэтому вечно новый и вечно юный, а она со своим молодым лицом — мертва и безучастна. Да и говорить она, конечно, не умела, и он просто принял шелест ветра за чей-то голос.

Художник сердито нажал карандаш, и графит хрустнул и сломался. Он начал искать в карманах другой, но в это время за его спиной раздался грохот и скрежет железа. Высокая девушка в комбинезоне, нахмутив брови, отделилась от крыши пробитый осколками лист. Лицо ее было серьезно и озабоченно, капельки пота блестели на загорелом лбу. Она работала, не глядя по сторонам, сосредоточенно и деловито.

Художник смотрел на девушку и чувствовал, как с каждым мгновением покидают его сомнения и неуверенность. Он отвернулся от статуи и с улыбкой схватил другой карандаш. Символ города был теперь здесь, и он нарисовал девушку, занятую восстановлением одного из прекраснейших зданий города — Зимнего дворца.

А статуя он оставил на картине тоже. Но только — на заднем плане, в наказание за самонадеянность.





ПРОСТОЙ РАССКАЗ

Вы спрашиваете, трудно ли мне? Конечно, сами видите, лета мои не маленькие — шестьдесят пятый год валит, да я что сейчас делаю? Колхозную ферму налаживаю, восстанавливаю, зна-чит. Разве это труд? Это — радость!

А вот уходить отсюда действительно трудно было. Если не за-скачаете — расскажу.

В сорок первом году, как подка-тил немец, дали мне приказ уве-сти наше колхозное стадо в Воло-годскую область. Ну, а я, конечно, свиноволка и с коровами да быка-ми совсем это мало знакомства имела. А делать нечего — не нем-цам же их оставлять. Коровы у нас были, к примеру сказать, кра-савицы, ну не в сказке сказать, не пером описать: гладкие, серобокие, круторогие. Ну, хороши коровуш-ки — так не скажешь, что плохи. Бывало, с поля идут, словно серый шелк по дороге вьется. И характе-ром спокойные. Прямо скажем — хороший характер.

С ними-то просто было — собрать да выгнать на дорогу.

А вот с доярками дело хуже.

У каждой дом. Да не просто дом, а вековечный. Тут у нее и дед, и

Ирина Карнаухова

Рисунок П. Басманова

прадед проживали, и мать с отцом умерли, и сама тут невестилась, и мужа с этого порога на фронт провожала. И в каждом углу срядя сердцу дорогая — в этом корыте первенького купала, на этой лавке детей рожала... Каждая вещь к бабьей душе приросла. Русский че-ловек свою землю любит, а уж ба-ба и вовсе в нее пятками вросла — попробуй, вырви. Да еще и ребя-тишки... Да что уж тут говорить!

И все это в одночасье брось и иди по чужим дорогам под нерод-ную крышу.

Сама я все это понимаю, а надо...

Пошла я доярок уговаривать.

Всегда-то я была на язык бойка, а тут словно вдруг заикается стала и слова, какие нужные, забывать. Ну, однако взяла себя в руки и с каждой по-своему говорю. Одну на сознательность беру, другую — сле-зой, третью — страхом. А больше все на любовь била.

Работали они у нас давно, коров этих повывастили, любили. Ну, я эту любовь и бередила.

— Неужели ты свою Красавку или там Буренку в поганые немец-кие руки бросишь?

Не мытьем, так катаньем и ско-лотила своих девять доярок.

Вот теперь и считайте: доярки, да ребята, да вещички, да для ста-да срядя: подойники, ведра, котлы да продукты там, спички... Боль-шущий обоз образовался.

Вышли мы в погожий денек, словно медом политый...

Перед околицей я и говорю:

— Ну, бабочки, давайте только, чтобы слез да воя не было, пусть нашей слезой враг не радуется. Не на чужую сторону бредем — в своей земле квартиру меняем.

— Ладно, — говорят, — не сомне-вайся, Наталья Александровна, не будем вить.

Провожающих я дальше околицы не пустила. И деда своего...

Прощались мы и в путь потя-нулись.

Впереди это стадо бредет, маль-чишки с хворостинами бегут, а сзади телеги волокутся, колеса скрипят, малые ребята кто плачет, кто смеется, котелки-ведра бря-кают...

Ну, чистая музыка.

Солнце светит, птицы поют... Будто и ничего. Пока своими полями шли — ничего и не было. Только стали на холм подыматься, с того холма в последний раз нашу деревню увидеть можно, а дальше уже чужой район начинается. И вижу я, что у меня руки трясутся. Иду я ничего — спокойно, глаза сухие, а руки трясутся и трясутся, ничего с ними поделаться не могу. Поглядела я на своих.

Вижу — лица такие сухие стали. Будто похудели. Губы сжали. Молчат.

— Ну, думаю, беда, как бы нам не завять.

Дошли до вершины. Я и говорю строго так, по-военному (а руки все трясутся):

— Не оборачиваться!

И пошло это по цепи гулять: — Не оборачиваться! Не оборачиваться...

Поближе это ко мне так твердо, громко сказано, а потом все будто слабей, будто говорить трудно. А последняя бабочка тихо так:

— Не буду...

Так и перевалили мы через родной холм. И стала под ногой земля чужого района...

Вот мы идем и идем. Поем да плачем, косы заплетаем, ведрами брякаем, а о нас уже люди думают.

День был больно жаркий. О полдень мы притомились, к вечеру устали. Воды на всех не увезешь. Пить хочется — мочи нет. Ребятишки плакать стали — сердце рвать. Коровы взмыкивают... Беда.

Вдруг видим — люди какие-то стоят, вроде шпалерами вдоль дороги. Гляжу, а это бабы с ведрами. И машут, к себе зовут.

— Давайте, давайте, — кричат, — родные, небось пить хотите!

И кто это их надоумил, наставил?! У каждой квасок кисленький. Кружки у каждой, полотенчико... Поят да уговаривают:

— пей еще! пей!

Ребятишки соскочили с возов, к ведрам бросились. Глядят это, как холодный квасок в кружки льется, только пальцами играют, да сухим языком губы трут.

Я так и то еле очереди дождалась. И до сих пор мне кажется, что вкусней этого кваса ничего я в своей жизни не пивала. Взглянула я на своих баб и уверилась: ни одна теперь домой не повернет — почувствовали.

Ну, тут и ветеринар нам был предоставлен, и зоотехник, и пастбище для коров, хлеб для людей. Ребят в клуб забрали, кашей накормили, нас по избам разместили.

Отдохнули, переночевали, а на завтра снова в путь. Ничего не могу сказать — всюду организованно было. Так и шли.

Только через неделю стала я замечать, что труднее с дневками делалось.

Из других районов, видите ли, стада пошла впереди нас. Они раньше нашего на пункт приходят, они и хлеб приедят, и пастбище лучше займут. По избам разме-

стятся, а мы все табором на воле погуляем.

Не понравилось это мне.

«Надо, — думаю, — мне вперед стада на пункт попадать, все приготовить. А как? Ясное дело — только верхом. Ну, а я старуха, век свой на лошадь не садилась. Хотите смеяться, хотите — нет, а я лошадей вот как боялась. Все к лошади норовлю сбоку подойти, чтоб ни лягнуть, ни укусить не смогла. А тут на тебе — поезжай — в мои-то годы. Да без седла! Совестно мне как-то и страшно — мочи нет.

Ну, однако, как ни думай, ни шуруй, а надо.

Выспросила я у баб, какая лошадь посмирнее. Вечерком, как все улеглись, завела ее в лесок, к пеньку подвела, юбку подобрала да и стала на нее забираться. Кости, милые, не молоденькие, в руках тоже силы нет. Грбалась я, грбалась, а она хвостом махнула, да и прочь от пенька отошла. Надоело ей, что я без толку еложу. Я так с вытянутыми руками и осталась на пеньке, будто преподобный какой столпник. А она это спокойненько траву щиплет. Вот вы смеетесь, да и мне теперь смешно, а тогда, верьте слову, чуть не заплакала, так мне обидно стало. Привела ее обратно и сама ей втолковываю: «Да ты что, не понимаешь, я ведь старая, мне седьмой десяток валит, легко ли мне, как кошке какой царапаться? Постой ты с терпеньем, голубушка». Что вы скажете, то ли поняла то ли соскучилась, однако стоит. Царапалась я, царапалась, да и залезла на нее. Сижу, отдыхаюсь. Ну, думаю, и ора ты, Наталья Александровна, вот бы дед посмотрел, смеху бы было...

Ну и тронула потихоньку. Трясет, не приведи господи. Пошла она быстрее, а я стала на бок съезжать. Съезжаю и съезжаю. А ухватиться не за что. «Батюшки, — думаю, — сейчас брякнусь и душа из меня, старой, вон». Только подумала и свалилась. Лежу и дыхнуть не могу, звезды в небе вижу. Покряхтела, покряхтела, встала: «Дурища, говорю, ведь для вас же стараюсь».

Ну чтоб вам не заскучать, короче скажу — до белого свету я билась, раз шесть падала, вся сиячком пошла. Однако добилась и ладненько так поехала.

Подъехала к табору, а бабы и не удивились — они ведь век с лошадьми, им в привычку, про мою войну с Сивкой и не думают. Обидно даже. С той поры дело хорошо пошло. Стадо тихо плетется, а я вперед на Сивке скачу. До пункта доеду и начну воротить. Чуть что — все медалями трясу. (Я ведь депутат, да еще две медали у меня за выставку). Потрясу медалями и хлеб налажу, ночевку ребятам и пастбище. Шло так дело хорошо, да и наехало на плохо. Шли мы раз лесом и вдруг слышим — шум в лесу страшный. Кто-то кусты ломает и коровы режут, словно их живыми кто режет.

Зашли мы в лесок с бригадиршей

моей и ахдуем: видим, стадо брешенное. На траве это веревки, объедки, уголья от костров — видно, люди ели-спали, ночевали. А живого человека нет. Коровы обезумевшие бродят, глаза кровью налиты, вымя у них словно железные, их уж верно вторые сутки не доили. Ревут дурным голосом коровушки, копытом землю роют, пена с губ катится. Бросили их, видно, доярки бессовестные, то ли по деревням разбрелись, то ли домой повернули. А к скотине и жалости нет. С этого дела корове от боли и сбеситься можно.

Тут уж долго думать не пришлось, позвала я своих баб, да и стали мы чужих коров доить, вымя им растирать. Выдоили, размассировали, успокоились коровушки.

С моими бабами и говорить не пришлось, сами поняли — не бросать же богатство в лесу, не замучивать же добрую скотину! Согнали к своему стаду и вместе вперед пошли. Через день еще брошенных коровушек собрали. И через неделю-полторы стало у нас стадо немислимое — больше двухсот голов.

Вот тут мы горюшка хлебнули полным ртом. Ну-ко, посчитайте: всего у нас девять баб, одна всегда занята, то кашеварит, то с ребятами, то посуду мыть. Значит, на дойку — восемь. Дойть три раза в день надо. А коров почти двести пятьдесят. Сметнули? Последнюю корову выдоили, а уж время вторую дойку начинать. А тут ведь еще дорога. Спешка. Легко ли?

Первый день такой прошел, подошли мои бабочки к котелку ужинать. Сели на траву. Раздала я кашу. Тихо что-то очень. Смотрю я — сидит моя бригадирша Марьюшка над миской и слезы в кашу капает.

— Что ты, Марьюшка?

— Руки... ложку не держат.

Глянула я, у нее пальцы вспухли, ладони, как подушки пуховые... Не гнутся пальцы, ложку не держат... И у других так.

Сидят, молчат, кашу слезами солят...

Бросилась я им руки растирать, а сама чуть не в голос реву.

Ну, с тех пор сделали мы так: как последнюю дойку кончают, я костерок развожу, котелок грею. Опустят доярки в горячую воду руки, а я еще дровец подкладываю, мало не кипячу воду. Вот руки-те в горячей воде отойдут, я разотру их, тогда и за ложку взяться можно.

Это — горе, а с молоком горе вдвое.

Доили мы бывало молоко и прямо на землю. Ведь тары да транспорту не напасешься. Доим и глядеть боимся — коровушек стыдно. Отъездом от места, оглянешься — на земле белым-бело. Издали даже красиво кажет — то ли проталинки снежные в зеленом лесу, то ли лебеди белые на поляну сели... А подумаешь — сердце щемит: такое богатство в землю идет, а сколько детей наших сирых да го-

лодных по земле бродит... И такая злость возьмет, что зубы скрипят. Зачтем, думаю, это молоко проклятому за нашу кровь.

Только стала я замечать, что народ у меня больно худеть начал. Харчи ведь не жирные. А сил еще много нужно, до места не близко. Надо, думаю, сепаратор раздобыть, тогда сливками баб поддержу. Вот в одном колхозе стала я сепаратор просить — у них три было. Ни в какую. Самим, дескать, нужно.

— Ну, — говорю, — что вы так языками нас бьете, давайте голосовать, посмотрим, нет ли у вас позознательней.

— Давай, — говорят, — весь народ против будет.

Ну, председатель говорит со смешком этаким:

— Подымайте руки, которые за то, чтобы свое добро проезжим людям отдать.

— Ну, — думаю, — зарезал.

И в сторону гляжу. Только слышу — больно тихо в избе стало. Что такое? Глянула, а все в одну сторону смотрят и молчат. И я туда. Стоят в углу наши девять баб, руки высоко подняли, а руки-то! Не видали люди вовеки веков ладошек таких. Вдруг вижу — одна колхозница слезу сбросила и руку подняла. И сразу будто лес вырос — весь колхоз руки поднял. И молчат.

Подожел ко мне председатель.

— Прости меня, Александровна, твой сепаратор, твоя правда. Да чести просим, погостуйте у нас хоть с неделку, наши бабы за стадом поухаживают, а ваши пусть отдохнут — обезручили ведь.

Перебыли мы у них денька три.

Дальше веселей пошли. Сливками я теперь работничков пою, только обрат на землю лью. Так дошли мы до реки, до Свири.

Знали мы, где для нас понтонный мост навелен был. Полошли к нему и ахнули: плывут по воде одни шепочки, вертятся одни палочки — разбомбили мост проклятики. Сгрудились мы у реки. Место вольное, чистое. Коровушки в воду пьют, ребяташки ноги полощут, доярки умываются, а я стою и думаю, где помощи искать, откуда жлать... Да для долгих дум на войне время не припасено. Пока я стояла да думала, налетел немецкий самолет и давай в нас стрелять! Что тут поднялось! Бабы ребят схватили, враспынную бросились, своим телом ребят закрывают, лошади постромки рвут, на дыбы вьются, а коровушки, мои матушки, ничего понять не могут. Им бы бежать, а они в кучу сгрудились, головы наклонили, глазом косят. Вижу я — одна, другая на колени пали, по морде у моей любимицы, у Красавки кровь льет, а из глаз слезы катятся. Я ему кричу, проклятому:

— Что ты делаешь, ведь здесь животная бессловесная!

А ему что? Пострелял да улетел.

Ну, думаю, он сейчас вернется — всех как есть нас перестреляет. А на той стороне лесок, есть где спрятаться. Да близок локоть, а не укусишь. И вдруг мне как в голову ударило. Вспомнила я, что отец мне рассказывал, как лось через озеро плыл. Ну, раскидываю, если лось плыл, почему корове не поплыть. Надо попробовать. Выбрала я корову посильнее, подвела к воде, взобралась на нее и погнала ее в реку. Вошла корова по колена, мне ступни замочила. Дрожь меня берет — реки боюсь.

— Буренушка, голубушка, — шепчу, — выручай, сердечная, — да как хлестну ее... И вдруг вижу — плывет! Плывет моя коровушка, плывет Буренушка. Платок я с головы сорвала. Машу платком и смеюсь и плачу.

— Бабы, — кричу, — бабоньки, плывет! Гоните стадо в воду! Садись по коровам!

Бабы мои скорей коров в воду погнала. Поплыло мое стадо. Бабы на коров забралась, ребята на коней... Перегламы все, благо, река узка, да и в лесок. Когда он второй раз налетел, так коровий кизяк бомбил.

Только я вижу — у меня на той стороне три убитых коровушки остались. Ну, думаю, мясо ведь, а мы мясца два месяца не видали — не бросать же. Сегитировала мальчишку одного покрупней, сама снова на Буренку взобралась, да и обратно на ту сторону. Ну, и перевезли, что могли. Три дня потом мясо ели.

Ну, уж больше рассказывать нечего. Потихоньку и до места дошли. Устроили нас хорошо. И жили ладно, как и в других местах. Ничего, жаловаться не могу. Два с лишним года жили, худого не видали. Только под конец я наплакалась.

Подожло время — освободили наш район. Стала земля у нас под ногами гореть. Домой да домой — день за год кажется, неделя за месяц. И вот разрешение пришло. Нам велено домой собираться, а коровы наши, значит, чтобы навечно в Вологодской области оставались. Вам, дескать, дома новых, других дадут. Загрустили мы: другие другими, а нам наших старых жалко. Мы их холили, раздаивали, до рекордов довели. А у тех, верно, и характер неизвестный.

Однако делать нечего — приказ. Поплакали мы, повздыхали, попрощались и уехали мои бабы домой.

А я осталась. Почему осталась? Да из-за «Малютки», из-за бычка племенного. Был у меня бычок такой, «Малютка» звался.

— Коровы, — говорю, — коровами, а бычка отдайте. Я его выкормила, выпоила, до дела довела. А без него, как без рук ферму восстанавливать надо? Надо. А коровенки эти новые, может, дрянн одна. А с «Малюткой» мне все нипочем. Через год у меня уже снова хоро-

шее стадо будет. Выньте из меня, говорю, душу, тогда «Малютку» забирайте.

Ни в какую. Я и кричу, и стращаю, и плачу, и медалями брякаю — ничего не слушают. Надела я тогда галоши, и в район за 70 километров отправилась. Приплелась, села у секретаря Райкома в кабинете на диванчике (хороший такой диванчик плюшевый) и говорю:

— Вот так и буду сидеть и умру у вас тут на плюшевом диванчике (мне до смерти, может, два шага осталось, седьмой десяток кончаю), а без «Малютки» не пойду. Вам, что ли, колхозную ферму восстанавливать? Мне! То-то!

Рассмеялся он да и говорит:

— Больно ты грозна, Александровна, что с тобой поделаешь? Испугался я! Бери своего «Малютку». Только извини, с транспортом подождать тебе придется.

Как я тут обрадовалась! Сразу обратно пошагала, дорога сама под ноги катится. Дошла домой и думаю: шут с ним, с транспортом, пока суд да дело, они, может, снова раздумают — кому охота такого красавца лишиться. Дай-ко, я своим транспортом покачу. Теперь ведь вольно, немец не бомбит.

На другой же день бумаги оформила, попрощалась. Ночью вывела я своего «Малютку», да еще и свиноматку (эта у меня загодя куплена была, ведь ферму свиную налаживать надо!). Хвостину выломала и в путь.

— Так пешком и пришли из Вологодской области в Ленинградскую?

— Так и пришла.

— Да как же это?

— Да хвостинкой всё, хвостинкой. «Малютка» — ничего, тихий. Одно трудненько было — свиноматка, она — коротконожка. Она мелко, тихо бежит — тух-тух-тух. А он шибко шагает: трах! трах! Вот это неловко было, а так — ничего. Дошли.

— А сейчас у вас как, Наталья Александровна?

— Сейчас все по-хорошему. Восстанавливаем. Матка уже два года поросят принесла. Вон и ферма началась. А и коровенки эти ничего... А «Малютка»... Да уж окажите удовольствие, поглядите.

Мы поглядели.

«Малютка» — чудовище в тонну весом, косил на моего спутника кровавым глазом, рыл копытом землю и ревел, как могучий теплоход на Черном море.

— Вы лучше не подходите, — сказала Наталья Александровна, — мужичин он сильно не уважает. А вы пожалуйста.

Маленькая Наталья Александровна Григорьева уточкой подошла к ревушей громадине и ласково положила руку на свирепую морду.

— Ну тихо, тихо, сынок. Он тебя не тронет, не тронет, не бойся.

Волосово.

Николай Браун

Из пламя и света
Рожденное слово.

Лермонтов



Не знает рожденное слово,
Надолго ль ему суждено
Возникнуть из плена немого
И где отзовется оно.

Не знает рожденное слово,
Как путь его будет суров,
Как трудно до слуха иного
Пробиться гармонии слов.

Не знает рожденное слово,
Живых потряса сердца,
Что ждет его снова и снова
Насмешка и злоба глупца.

Не знает рожденное слово,
Что в славе к народу придет, —
К любимым испытаньям готово —
Рождается, бьется, поет!



Пастух кору надрезал у березы,
Склоняясь, тянет сладковатый сок.
За каплей капля падает в песок
Березы кровь прозрачная, как слезы.

А над землей — дыхание весны,
И все деревья с корня
до листочков,
Едва раскрывшихся, напоены
Железной силой, рвущей створки почек.

Так ясен день! Так небосвод
глубок!
Так журавли курлычут,
пролетая!
И в этот миг березе невдомек,
Что может быть смертельна рана
злая.

Что, может быть, от муки холодея,
Она увянет к будущей весне:
Иссохнет ствол, и ветви онемеют,
И помертвевут корни в глубине.

Но этот черный день еще далек,
И долго будет кровь еще
струиться,
Над нею станут бабочки кружиться
И пчелы пить густой пахучий сок.

Покуда ж все, как прежде:
зеленеет
Наряд ветвей, и зелень так свежа!
И пьет пастух.
И на коре желтеет
Глубокий след пастушьего ножа.



Марш Комиссаровой

Кострома-Костромушка, сторонка,
Сторона заволжская твоя!
Девушка, русалочка, девчонка!
Древние, дремучие края!

Сторона заречная, глухая,
По лесам берлоги залегли,
Дремлют сосны, шапки колыхая,
Хмуры ели в шубах до земли.

Стрижены под скобку, бородаты
Прадеды столетние твои,
Лесорубы, царские солдаты,
Коренные пахари земли.

Бабкино «баю», пастушья лудка,
Бубенец коровий поутру,
Мамкина погудка-прибаутка,
Птичьи свисты в зеленом бору.

Причитаний бабьих плач
надрывный
До зарей гармоник парней,
Да напев подружек заунывный —
Здесь начало песенки твоей.

Вот она выходит — избяная,
Робкая, мужичья до глубин,
Вот она смеется, расписная,
Словно голос бабьих старин.

И, как дар от старины дремучей,
Не напрасно голос твой сберег
Тот былинный, северный, певучий
Окающий волжский говорок.

Я, как в зыбке, бережно качаю
Все, что мне привиделось таким,
Я, тебя встречая, привечаю
Акающим говором своим.

Ведь с твоей землей одною кровью
Сторона повенчана моя —
Сердце всей России,
Примосковье —
Тульская, Орловская земля.

Кровь моя — твоей — сестра
родная,
В трех славянских водах крещена,
Голубыми волнами Дуная
Доплеснула к северу она.

Перешла раздолья Украины,
И на голос матери вошла
В тихие приокские долины
И отсюда песню повела.

И, как две реки, пройдя просторы,
Повстречались наши голоса —
Твой — как сумрак северного бора,
Мой — березок ясные леса.

Девушка, русалочка, сестренка,
Ты подружка легкая моя!
Кострома-Костромушка, Костромка,
Древние, дремучие края!

Сказка

На смену песне шла, бывало,
сказка.
Замрешь — и ловишь слово,
не дыша.
Ты, сказка-быль, ты,
присказка-побаска,
Вернись, приснись, как прежде
хороша!

Вернись опять, нечитанной
ни разу,
Такой, как мне запомнилась
на слух,
Чтобы, как встарь от бабьего
сказа,
Мне по ночам захватывало дух.

Ведь бабка вовсе грамоты не знала.
Вздохнет, бывало: «Неученья —
тьма»...
А сказки знала — от людей
слыхала,
Забудет что — придумает сама.

И шли ко мне несметные Иваны —
Царевичи, Иваны-дураки,
Заморские невиданные страны,
Дворцы, Кащей, клады, бедняки.

И все искали счастья, ждали дива,
Шли по земле, бросая отчий кров,
Чтобы найти молочных рек
разливы,
Привольный край кисельных
берегов.

Казалось мне, что счастье
где-то рядом,
И что овраги по лесам таят
Следы жилья разбойников и кладов,
Зарытые сто сотен лет назад.

Бывало — ночь. Все спят. А мне
не спится.
Я все гляжу в седую муть окна.
Гляжу и жду: вот прилетит
жар-птица —
И вспыхнет ночь, огнем озарена.

И я перо добуду золотое,
Которого никто добыть не мог,
А с ним найду и счастье
непростое —
Царевны терем, терем-теремок!

Я с ним пройду всю землю
и открою,
Найду тот край, где б каждый
счастлив был,
И я недаром больше всех героев
Гороховое Зернышко любил.

Крестьянский сын, — кто мог ему
быть равным? —
Он всех смелей. Не раз он в бой
вступал
С многоголовым змеем
чужестранным,
Что грабить землю русскую
летал.

Добыл он волю краю дорогому,
Обозы хлеба беднякам возил,
На месте хижин возводил хоромы
И Правдой Кривду замертво разил.

Но затихала сказка. И вставала
На смену быть, теснившая меня,
И за моря царевна улетала,
И не было жар-птицына огня.

Но я, ночей бессонных не жалея,
Опять от сказки сердцем пламенел,
И долго, Кривдой виденной болея,
Быть Зернышком Гороховым хотел.



МОЙ РЫЖЕНЬКИЙ СЫН

Джесси Стюарт

Рисунки Т. Шимаревой

Если вы никогда не были в Плэм Грэве, то вы, конечно, не знаете, какая плохая туда дорога, как она изрыта и скользко в ней ям. Зато по обе стороны ее растет вереск. Я, кажется, знаю каждый куст вереска между домом Лимы Уайт и Плэм Грэвом, хотя их разделяют добрых полтора мила. От нас до дома, где живет Лима, совсем недалеко, и, когда мы были детьми, я очень часто заходил за ней, и мы все вместе с ее родителями шли в Плэм Грэв в церковь.

Потом Лима очень сдружилась с другим парнем. Я вслэчки старался сблизиться с ней, нарочно попадался ей на пути, но она даже не смотрела в мою сторону. Однажды вечером я расхрабрился, подошел к ней, снял шляпу и сказал: «Лима, можно проводить тебя домой?» Но она ответила: «Пока Ристер жив, этого не будет».

Боже мой, как она любила Ристера Джемса! И что она в нем нашла? Пронзительные глаза, на лице бородавки, — только что высокий, и замечательная шапка волос. Густые, черные, блестящие, красиво выходящие волосы. Я как-то слышал, что одна девушка говорила другой: «Хотела бы я иметь такие волосы, как Ристер Джемс! Эти волосы никакого вида не имеют на его голове! Вообще, для чего это парню даются курчавые волосы, а девушка должна делать перманент и смолить волосы и мучиться! Просто свинство, что эти волосы достались Ристеру!»

Ну, о моих волосах никто этого не скажет, хотя они тоже густые и курчавые. Начать с того, что они так вьются, что не видно, каким концом они растут. Сколько я молился богу, чтобы у меня волосы стали прямыми или другого цвета. Молитвы совершенно не помогают. У меня светлые волосы, но я должен сразу же предупредить, что это не цвет отливающих солнцем колосьев ржи, не цвет золотистого шелка, не цвет, который так хорошо получается у художников, пишущих рекламы. Нет, когда я смотрю на нашу рыжую корову «Джекки» и на свою голову в зеркало, я вижу один и тот же противный грязно-желтый цвет. И тут ничего не поделаешь.

Внизу в деревне была молодая девушка, и она тоже любила Ристера. Случилось это не сразу. Сначала она презирала его, потому что ее отец был очень богат и ей казалось, что чище и лучше ее на свете нет. Вы знаете этих гордых девушек, которые так задирают нос, что вот-вот туда накапает дождь. Не приведи господи бедняку жениться на такой горячке, как Олли Сприггс, У нее муж никогда не будет хозяином у себя дома, всегда она будет верховодить. И ее отец и вся их семья отличались заносчивостью, но почему-то она полюбила бедняка Ристера, и он мог проводить все вечера с ней. Мог, — это знали все.

Ристер пропал у Лимы, девушки, которую любил я. Ристеру было девятнадцать лет, мне — восемнадцать, а Олли и Лиме — по семнадцать. Олли была вдова, и у нее был ребенок, она вышла замуж за Джона Сприггса, когда

ей было пятнадцать лет. Почему-то я совершенно не интересовался Олли, и она мной, так что если бы Ристер выбрал ее, то это было бы счастьем для всех четырех, и в особенности для меня. Из всех девушек на свете я хотел только Лиму и сказал ей об этом. Но из всех парней на свете она хотела только Ристера и сказала мне об этом.

Я отлично знал, что Олли красива, у нее волосы, как солнечный луч, и зубы белые, как кочерыжка. Она была стройная, как железнодорожная рельса, но вместе с тем очень женственная. Ее свекровь, старая Эффи Сприггс, рассказывала, что Олли была очень плохая жена для ее сына. Она рассказывала, что Олли однажды разбила целый сервиз, двенадцать тарелок, о его голову, а он все стоял и терпел, потому что не понимал, как можно ударить женщину.

Я уже говорил, что когда Ристер, во время сенокоса, нанимался к отцу Олли Сприггс за 25 центов в день, Олли смеялась над ним и презирала его. Она назвала беззубую мать Ристера ведьмой. Она высмеивала отца Ристера и всю их семью. А потом вдруг выросла эта любовь. И все знали, что Олли бегает за Ристером, как тень, и хочет, чтобы он на ней женился. Это не первый случай, который я знаю, как любовь, забравшись в сердце заносчивой девушки, лишает ее последних остатков гордости и спокойствия.

Ристер уходил от Олли к Лиме, и я вполне понимаю его. Потому что с самого детства не знал никого милее и привлекательнее. А Лима упорно избегала меня, хотя, если бы не мои волосы, я был бы не так уж плох и во всяком случае лучше Ристера. Но я думаю, что Лима так любила Ристера потому, что знала, как охотится за ним Олли, а если бы поблизости была еще одна девушка этого возраста, она бы полюбила Ристера за то, что и Лима и Олли стремятся к нему.

Но никто не стремился ко мне. Я был одинок и никому не нужен, и только моя мать уверяла меня, что я самый интересный парень во всей нашей местности, и что мой единственный минус — это немножко телячий цвет волос. Но ведь это известно всем, что, как бы безобразен мужчина ни был, в глазах своей матери он все равно лучше всех.

Много роз распустилось в саду Лимы в конце июня. Я всегда любовался ими, когда проходил мимо ее дома. Вот Ристер никогда не обращал внимания на цветы. И никакой роли для него не играет голос девушки, ее взгляды и вкусы, ее руки. Его в девушке интересует совсем другое, и он умеет добиваться своего. Я знал это все время.

Помню эту среду. У матери кончилась сахар, и она сказала, чтобы я оседлал мула и поехал в лавку. Моя дорога лежала мимо дома Лимы. Я никак не думал, что Ристер в будний день, в самую сенокосную пору бросит работу и будет здесь. Порядочный фермер никог-

да не бросит свое поле в страдную пору ради забавы, ради кошачьих нежностей. Каждый летний день неповторим, его надо ловить и умело использовать. Кто этого не делает, тот плохой фермер.

Когда я увидел Ристера около Лимы, я подехал на своем муле к самой изгороди. И я начал говорить с ним так, как будто мне было все равно, что он стоит рядом с ней и обнимает ее. Но видит бог, что мне было далеко не все равно, а очень больно. Но я обыкновенным голосом спросил: «Как дела, Ристер, как урожай?»

— В общем в порядке, — ответил он. — Сегодня надо было бы косить, но земля слишком влажная. Неподходящая погода.

Я отлично знал, что он лжет. Но я ничего не возразил. Слава богу, я знаю, когда можно косить и когда нельзя. Я сегодня с самой зари работал в поле и почва была прекрасная, совсем не слишком влажная. Когда-то Ристер был хорошим работником, но теперь он потерял интерес к своему полю, к своему урожаю, у него на уме была только Лима. И теперь у меня на глазах, в двух шагах от меня, он обнял Лиму и стал ее целовать.

Моя мать говорит, что порядочная девушка никогда не даст себя целовать в присутствии других. Она говорила не о Лиме, она говорила это давно, совсем про другую девушку, но я теперь вспомнил ее слова и убедился, что она была права. Я нисколько не переменял своего мнения о Лиме и не допустил бы, чтобы кто-нибудь дурно о ней отозвался, хотя я видел то, что я видел. Я любил ее и хотел, чтобы она стала моей женой. Но каждый мужчина поймет, что происходит в душе человека, когда он, сидя верхом на муле, видит, что в двух шагах от него девушку, которую он любит, как невесту, обнимает и целует пустой, вздорный, недостойный ее парень. Они стояли за зеленой изгородью, солнце освещало их, кругом были розы, и она обнимала его за шею, а он так крепко прижимал ее талию к себе, что, казалось, сломает Лиму пополам.

И он говорил ей: «О, люби меня, ты, Битси баби, бупи пупи ку!» И она отвечала: «О, как я люблю своего Битси баби, бупи пупи ку! Какой чудесный мой маленький итси битси, турли мурли, бупи пупи ку!»

Я стоял, страдал и думал: «Каким великим счастьем для меня было бы вот так сюсюкать и дурачиться с Лимой, и какое мучение, как отвратительно, когда это делает другой. Надо скорее бежать отсюда».

Я прищипнул моего мула и гнал и гнал его, пока мы не очутились в лавке. Я купил сахар, и в лавке мне напомнили, что сегодня вечером в Плэм-Грэвской церкви молитвенное собрание, так что надо торопиться домой, чтобы справиться со всеми делами и во-время попасть в церковь.

Дома я накормил и напоил мула, подал корову, наколот и принес дрова для плиты, натаскал воды на колодца. Затем я двинулся в путь. Подходя к дому Уайтов, я увидел, что на ка-



лятки выходят Лима и Ристер и тоже направляются в церковь. Я не хотел догонять их и шел потихоньку сзади. Но как только я вышла на большую дорогу, я поравнялась с Олли Спрингс. Она шла в церковь со своим мальчиком, который уже мог немного ходить и много болтать.

Мы пошли вместе, и я сказал Олли: «Ристер и Лима идут впереди». Тогда Олли сказала: «Давай, догоним их, повеси моего малыша, и прибавим шаг».

Мне ничего не оставалось, как взять мальчика на руки и ускорить шаги, чтобы не отстать от Олли. С какой легкостью идет женщина, когда она приближается к любимому человеку. По одной походке Олли было видно, что она любит Ристера. Она поставила целью своей жизни добиться его. А когда женщина так энергично берется за это дело, она почти всегда доводит его до конца. Значит, решила я, она борется за свое счастье с Ристером, а я за свое счастье с Лимой. Вот почему я покорно нес на своих плечах Оллиного мальчика.

Я давно уже слышал, что более несносного и противного ребенка свет не создавал. Теперь я поверил этому. Может быть, это была вина двух женщин, матери и бабушки, которые его избаловали, но факт остается фактом. Мальчишка сидел у меня на плечах, и я двумя руками придерживал его ноги, доходявшие мне до середины груди. Если я на секунду отнимал руку, чтобы вынуть носовой платок или отогнать комара, он начинал барабанить ногой, как если бы он стучал в дверь. А что он выделывал руками! Он щипал меня за уши и за нос, дергал за волосы, тыкал пальцами мне в глаза, все время покрикивая и погоняя меня, как если бы я был упрямой клячей. Он подсакивал у меня на шею и ерзал и тербил меня так, что я с великим трудом удерживался от желания стащить его вниз и задать ему основательную трепку.

Приблизившись к первому холму, мы подошли довольно близко к ним и увидели, что Ристер и Лима идут обнявшись, его рука на ее плече, ее рука вокруг его талии. Месяц взошел, и было светло, как днем. Как будто нарочно природа хотела показать, какими чудесными бывают ночи. В такую ночь невольно веришь в сказки и в счастье. Вы бы видели, как выглядит обыкновенное поле ржи или пшеницы при таком лунном свете. Вы бы видели, как

теперь проходили. Я просто гордился им, моя душа пела, глядя на него. Высокие, сильные колосья, ни одного сорняка! Густое и высокое море золотистых колосов, привольно переливающихся на ветру. Как радостно сознавать, что я своими руками вырастил это богатство хлеба, без всякой помощи и за землю выплатил все сполна и никому ничего не должен. Единственное, чего мне теперь нехватало, это такой жены, как Лима. Ей было бы хорошо со мной, а я был бы самым счастливым человеком.

И еще я думал: «Доживу ли я до времени, когда буду носить на своих плечах моего собственного сына, матью которого будет моя Лима. Я никогда не устану носить его. Я никогда не устану работать, чтобы сделать из него настоящего человека и фермера, а этого маленького гада, который обоими пятернями вцепился мне в волосы, я бы охотно высек даже в эту божественно красивую ночь».

Мы совсем близко подошли к Ристеру и Лиме, и Олли нарочно взяла меня под руку, так что, когда они оглянулись, они увидели картину полного семейного счастья: мы разговаривали и смеялись, Олли держала меня под руку, а ее мальчик подпрыгивал у меня на шее в самом радужном настроении. Мальчишка так орал и визжал, что все обращали на него внимание, и знакомые парни косо поглядывали на меня и острили, что Олли недорого заплатила за нового мула.

Около церкви было очень много народа, пожалуй, больше, чем внутри. Мы кое-как протиснулись вслед за Ристером и Лимой. Мне показалось, что они хотели быть подалее от нас, как будто стыдились нашего общества, но мы все же шли рядом, как будто одна компания. Я заметил, что народ в церкви больше обращал внимание на нас, чем на проповедника. В особенности девушки. Они переглядывались, указывая на нас, и шептались и смеялись, очевидно, над тем, что я нянчусь с Оллиным мальчишкой.

А я сидел и думал: «Ничего, будет время, когда я в эту церковь приду с другой женщиной, для того, чтобы перед богом и людьми жениться на ней и основать крепкую счастливую семью. Тогда вы не будете смеяться».

Когда проповедь кончилась, я снова посадил мальчишку к себе на спину и стал пробираться к выходу. На меня поглядывали с насмешкой, но я совер-

ленно не обращал внимания. Я смотрел в будущее. Тысячи мыслей громоздились одна на другую в моей голове. Я не хотел, чтобы Ристер был с Лимой. Это все наделала мать Олли, старая Джо Апшлтон, это она не допустила, чтобы Олли вышла замуж за Ристера и выдала ее замуж за Джона Спрингс. По-настоящему не Олли вышла замуж за Джона, а ее мать, и теперь Олли умирает от любви и не боится быть смешной...

Как бы угадывая мои мысли, Олли говорила: «Мне не нужна жизнь без Ристера. Лима не любит и не понимает его. Какая дурацкая жизнь — вот ты и я, мы провели весь вечер вместе, и ты таскал моего ребенка только для того, чтобы видеть, как человек, которого люблю я, проводит время с девушкой, которую любишь ты».

Она была права. Жизнь несправедлива. Жизнь жестока. Зачем она посылает красивую ночь и яркий месяц над золотистым хлебным полем! Вот мой домик на далеком холме, куда я хотел бы повести Лиму. Вместо того, чтобы быть с ней, я провожаю домой Олли Спрингс и ее отвратительного малыша. И мы прошли мимо дома Лимы, и я вспомнил, как в среду она стояла за изгородью с Ристером, и я почувствовал рану в сердце. И, доведя домой Олли Спрингс, я сказал ей: «Олли, закрой глаза и на минуту представим себе, что ты Лима, а я Ристер, и поцелуемся на прощание». И мы так и сделали, но без всякого впечатления.

Когда, возвращаясь домой, я снова прошел мимо дома Уайтов, я увидел, что Лима и Ристер прощаются у колодца. И потом Лима вырвалась из рук Ристера и ушла в дом, а Ристер стоял в какой-то нерешительности. Он смотрел в небо и копал кончиком бутинка землю, переступал с ноги на ногу и не уходил. Потом он стал смотреть в одно из верхних окон, а потом издал очень странный крик. Это был очень длинный, протяжный, разногласный крик. Если бы не светлая ночь, у меня бы зашевелились от ужаса волосы на голове. Свист летящего снаряда, и какое-то бульканье, и звук металла о металл, и змеиное шипенье, и глухой, отрывистый воев птицы. Я никогда ничего подобного не слышал. Стоя с запрокинутой назад головой, Ристер, видимо, ждал ответа. Его не было. Тогда он еще раз закричал таким же образом и снова прислушался. Вдруг из открытого окна наверху послышалось нечто напоминающее мяу-канье. При первых же звуках его Ристер бросился к дому, укрепил прислоненную к нему лестницу, быстро взобрался по ней и нырнул в открытое неосвященное окно.

Мысленно я уже был дома, уже взял ружье, уже зарядил его и, подкараулив уход Ристера, уже влезла в него столько дрови, чтобы сделать его грудь и живот похожими на частое сито.

Потом я решил отставить лестницу, чтобы заставить его идти через весь дом или прыгать со второго этажа. Цель ад бужевал в моем сердце, в моменты я был страшен самому себе. Но потом мне стало только больно и тошно, потому что я понял, что не имею право убить Ристера и не имею права производить шум или отставать лестницу, чтобы родители Лимы или

соседи узнали о... Я просто не мог найти себе места, думая о том, на что решилась Лима, и о том, что я могу навеки потерять ее.

И опять я думал о том, как жестока жизнь и как она не дает человеку радости, которые окупают страдания. Почему мне суждено страдать? У меня для Лимы любящее сердце, и сильные руки, и домин, и густое колосистое поле, работая над которым, я непрерывно думал о ней.

А Ристер не принадлежал ей целиком, я это чувствовал и знал. У Ристера для Лимы были только минуты, часы, может быть, недели. И все.

Не помню, как я дошел домой и зарядил ружье. Я зарядил его только одной пулей. Для Ристера. Попасть ему в сердце. Убить наповал. Но потом я опустил ружье. Я не буду убивать Ристера. Я не хочу, чтобы старый Сол Уайт и его жена выбежали на двор, раздетые и перепуганные. Я не хочу, чтобы Лима получила дурную славу и возненавидела меня.

Я разрядил ружье и повесил его обратно на стенку. Я разделся и лег. Но спать я не мог. Я видел перед собой Лиму и Ристера у колодца. Я слышал крик Ристера. Я запомнил его. Каждую нотку я мог повторить. И мне захотелось повторить его, раз и другой повторить, и свист, и звяканье, и шипенье, и вой. У меня внутри все дрожало от этого жуткого крика. И мой отец проснулся и зашел ко мне в комнату и сказал, что его разбудил какой-то страшный вопль, которого он никогда не слышал. Потом мой отец пошел спать, а я не заснул до утра.

Завтракать я не мог и чувствовал себя, как после тяжелой болезни. Но я решил быть настоящим мужчиной и дельным фермером и отправился в поле. И я косил десять часов подряд, каждым взмахом руки уничтожая препятствия, отделяющие Лиму от меня. Каждую секунду я думал о ней, и я молился о ее счастье и о том, чтобы она была моей. Я еще никогда не работал так яростно и успешно.

Было уже поздно, когда я вернулся с поля, и я был голоден, как никогда. После ужина, накормив мула и сделав всю обычную домашнюю работу, я ушел из дому и направился туда, к дому Лимы. Все огни были потушены. Как вчера, на своем прежнем месте стояла прислоненная к дому лестница. Все было спокойно. Старый дом спал. Только пушистый Флок подбежал ко мне и приласкался, потому что мы с ним были друзьями с давних пор.

И я запрокинул голову назад, как это вчера сделал Ристер, и закричал, как он вчера кричал. Флок начал лаять. Но я услышал голос Лимы, отнемавшей звуком, похожим на мяуканье. В один момент я был у подножья лестницы, укрепил ее о карниз и стал взбираться вверх. Флок отчаянно лаял внизу, и я боялся, что старик Сол зайдет к Лиме в комнату и найдет меня там и убьет Лиму или нас обоих вместе. Но я иначе не мог, и я забрался через открытое окно в комнату Лимы, чтобы сказать ей, как я люблю ее, хотя мне все известно.

Еще я не успел обеими ногами очутиться в комнате, как я услышал голос Лимы, говорившей: «О, мой итси битси, турли мулли, бэби бой». Свет

луны падал через открытое окно, и я боялся, что Лима узнает меня прежде, чем я сумею что-нибудь ей сказать. Так оно и вышло. Как только Лима увидела мою голову, освещенную луной, она закричала изо всех сил. Она закричала: «Эти волосы, боже мой, откуда он взялся!» И продолжала кричать. Я даже не успел ничего сказать и, как птица, перелетел через окно. Я слышал, как хлопнула дверь из комнаты старика Сола, его шаги вниз по лестнице, и не успел я добежать до изгороди, как раздались выстрелы, и дробь застучала по деревьям, изгороди и скамейкам.

Я много думал в эту ночь. Я сказал себе: прошлое мужчины принадлежит ему, но его будущее принадлежит женщине, которую он любит и на которой он женится. В сущности девушка тоже имеет право на прошлое, и надо уметь это понять. Разве дело в прошлом? Если человека любишь, так пойдешь за ним на край света, потому что в нем ключ к смеху и слезам, к работе и радости, к природе и семье. Я видел Лиму во сне в эту ночь, и я видел ее в деревьях, освещенных луной, и в больших желтых цветах, и в самом лунном свете, и в свежем вечернем ветре, и в моем густом аккумулятивном поле, и в звездной ночи. Она была со мной всюду. Она была моей женой. Никакого Ристера. Я любил ее и завоевал ее.

Август кончился. Приблизился и наступил сентябрь, перекрасивший зеленые листья в оранжевые и золотистые. Пришел октябрь, который сделал их бурными и умертвил. Целые вихри мертвых листьев носились в воздухе. Свиристый ветер мрачно носился над бурными, коченеющими полями. Высоко в неприступном небе проносились никому ненужные вороны.

Месяцы сменяли друг друга, ничего не меняя в моей жизни. Я попрежнему бывал в церкви, но мне ни разу не представлялся случай поговорить с Лимой или с Ристером, большей частью я бывал там с Олаем. Народ в церкви перешептывался, когда появлялась Лима. Все упорнее шли о ней дурные слухи. Каким-то образом все стало известным. Одна женщина, старая дева со скрюченным пальцем на правой руке, сказала: «Эта бедная Лима Уайт, из добропорядочной семьи, с такими почтенными родителями, посмотрите, чем она кончила. Нельзя поручиться ни за одну молодую девушку, в особенности, если она водит компанию с таким низкопробным парнем, как Ристер Джемс. Заговори о нем, и все сейчас же вспомнят, какие у него красивые волосы, а что у него черная душа и волчья повадка, это никого не интересует».

А другая женщина, недавно приехавшая из города, сказала: «Вы правы, мисс Фэрчайлд. Этот парень заслуживает дегтя и перьев. Погубить такую хорошую девушку, как Лима Уайт. Ей уже не место в церковном хоре среди другой молодежи, ей уже не играть на органе и не веселиться, как подобает ее возрасту. Она навеки опозорена. И этот Джемс, говорят, не собирается на ней жениться. Он уже увиливает от нее. Бедняжка!».

Тут я специально зашел к Олаю Спритгсу и сказал ей: «Ты знаешь, как ополчилась вся деревня против Ристера. Теперь ему не сладко. Это подходящий

для тебя момент. Поговори с ним, он наверное нуждается в поддержке и будет тебе благодарен. А я думаю, что мне удастся взять Лиму и ребенка. Я тогда буду счастлив, а ты можешь иметь Ристера».

— Ты прав, — сказала Олаи. — Я начну плести паутину вокруг него. Я люблю этого курчавого парня. Я с каждым днем люблю его все больше.

Земля оделась высоким снегом. Ветер хозяйничал в полях. Зима была необычно суровой. Народ говорил, что старый Сол Уайт с винтовкой в руках приведет Ристера Джемса к алтарю и заставит его жениться на своей дочери.

Все ждали, чем эта история кончится. Не было человека, который бы не знал про Лиму и Ристера. Для молодой девушки у нас дурная слава — это хуже неурожая. На нее смотрят с сожалением или насмешкой, и найти себе мужа ей почти невозможно. Но для парня такая история почему-то не считается позором. Он может вместе со всеми стоять в церковном хоре и петь под орган, и никто не властен его выгнать из рядов благочестивой молодежи. Пусть мамы и старые девы осуждают мужчину, общество и церковь заступаются за него.

— Я ни за что не женюсь на ней, — сказал Ристер. — Старина Сол не заставит меня. Если он начнет охотиться за мной, я уеду на угольные шахты в Западную Виргинию, туда, где нашла состояние отец Олли Спритгс.

Сначала уехал Ристер, а вскоре Олаи оставила мальчика с матерью и отправилась навестить своего папочку в Западную Виргинию.

Я думал, что судьба начала немного заботиться обо мне. Я имел право на счастье: я упорно работал, и упорно молился, и упорно ждал. Ждал, несмотря на боль и страдание. Никто не знал, что я переживал один зимой в лесу. Их было много, этих ночей, когда я не мог быть дома и уходил бродить в лес. Падал густой, мелкий снег, или дул ветер, или вьюга слепила глаза, и лес молчал, а боль в душе кричала и рвалась наружу и хотелось плакать и жаловаться на одиночество, на тоску, на вьюги и сугробы жизни.

Зима ушла. Появились первые птицы с юга. От Ристера пришла известия. Он работал в шахтах и хорошо зарабатывал. Он удивлялся, как это он мог когда-то работать на полях за двадцать пять центов в день. Теперь он эту сумму получал в час, зарабатывая в день не меньше трех долларов. Он стал хорошо одеваться и в доказательство прислал фотографию. Все свободное время он проводил с Олли Спритгс.

Время шло. Апрель коснулся зеленой палочкой холмов и полей, в снова паути попользу по бороздам. В ту ночь, 9 апреля, моя мать была около Лимы. Доктор живет далеко и неохотно откликается на зов, мелкопоместных фермеров, и моя мама отлично справилась с этим делом без доктора.

Мама пришла домой на следующее утро и сказала, что Лима была молодец. Она и ребенок отлично себя чувствовали. «Странно, — сказала моя мама, — у ребенка довольно густые рыжеватые волосики и две макушки на головке, почти как у тебя».

Я ничего не сказал. Я был переполнен радостью. Все было повади, и на-

живалась весна жизни. Я помчался в Уайтам, чтобы посмотреть на ребенка. Я подошел к ее кровати и взял ребенка на руки. Не могло быть никаких сомнений, что это мой ребенок, достаточно было посмотреть на его волосы. Я поцеловал его. Это был мальчик. Сорок полей и сто плугов не могли бы дать мне этого чувства счастья. Я еще никогда не держал в руках грудного ребенка и не предполагал, что они могут быть красивы. Но этот мальчик был бесспорно красив, такой красненький с двумя рыжими макушками и толстыми ручками.

И я сразу сказал: «Сейчас побегу в магазин, Лима, и куплю все, что можно купить для новорожденного».

Она удивленно спросила: — Куда ты собираешься итти?

— Посмотри на цвет его волос, — сказал я. — Разве ты не видишь, что это мой ребенок, я его ждал, как своего, и люблю, как своего.

В ее глазах мелькнула искорка, а потом их заволокли слезы. Слезы текли и текли из ее глаз, тихо и безостановочно.

— Когда ты встанешь, Лима, — сказал я, — мы пойдем в церковь и поженимся. Мы всегда будем вместе, как в детстве. И забудем про Ристера.

Она сделала движение, как бы собираясь встать с постели. Но я уложил ее обратно. Я был вне себя от счастья и не знал, что делать. По дороге в магазин я вскопал несколько грядок под окном у Лимы. Старый Сол закричал мне: «Какого чорта ты делаешь! Как ты смеешь распорядиться в моем саду?»

— Дорогой тесть, — отвечаю я, — видели вы ребенка? Он лучше, чем фермы всего нашего штата, и в его честь здесь

должны расти другие цветы, не такие, как раньше.

И я убежал, оставив старика в недоумении.

Я вбежал в магазин. Я говорил себе: «Я впаху больше земли и посею больше зерна. И буду вдвое больше работать, потому что она будет со мной. Она будет моей женой. Кто равен мне, когда я покупаю моему сыну приданое! Дайте мне все самое лучшее».

И я забежал в церковь и сказал, что бы священник приготовился обвенчать нас. И с большим пакетом я вернулся к Лиме, и мой будущий тестюшка уже ласковее встретил меня и сказал, что Ристер негодяй и теперь женился на Олии Спрингс и он, Сол Уайт, проклинает Ристера...

Мне все равно. Я никого не проклинаю. Я счастлив.

Через неделю мы пошли в церковь. Священник обвенчал нас. Я это сделал для Лимы, лично я мог быть обвенчанным в сарае, в амбаре, в подвале, не все равно где. Но для Лимы это было важно. Вы бы посмотрели на моего ребенка — это мой портрет. Длинные телячьего цвета волосы и улыбается, глядя на меня. Растет и уже ползает.

Ристер и Олия вернулись. Они живут все вместе с матерью и ребенком. Ристер стал хорошим семьянином и заботится об Олии.

Вчера мы все были в церкви. Я с Лимой впереди, Ристер и Олия позади, и каждый из мужчин держал на руках ребенка. Я знаю, что люди, глядя на нас, думали, что я несу на руках сына Ристера, а Ристер того ребенка, которого я в течение полугода носил каждое воскресенье в церковь, но мне было без-

различно. Пусть каждый думает, что хочет.

Олия мальчишески приплясывала на шее у Ристера, щипала его и кричала: «Шевелись, дай ходу, но-о, лошадка!»

Он стал совсем большой и еще капризнее и крикливее, чем раньше. Когда мы, все четверо, показываемся где-либо, люди останавливаются, оглядываются, вытягивают шеи, шепчутся, смеются. Олия понимает. Лима понимает. Ристер не понимает.

Мы возвращаемся лунной ночью. Сейчас лето. Колосится высокая, густая пшеница. Как красивые поля при лунном свете! И я, нежно прижимая к груди ребенка, закидываю голову назад и тихою, чтобы не разбудить его, повторю тот памятный зов Ристера: свист, шипение и вой.

Тогда у Ристера делается изумленное лицо. Он совсем запутался.

Перевод с английского М. КОЛПАКЧИ



Борис Леонтьев

Души статуй

Луна бросает неяркий
Отблеск голубоватый...
Сходятся в старом парке
Души разбитых статуй, —

Грубо разбитых врагами
На куски, на мелкие части...
Израненными губами
Они говорят о счастье.

Богиня любви вешает:
«О нет, я не смешана с пылью,
Моя душа распрямляет
Свои орлиные крылья!»

Ведь враг, разбивая мрамор,
Не понял — пьяный и дикий,
Что дух мой живет упрямо,
Незыблемый и великий».

А там, у чугунной ограды
Под липой, на старом месте,
Стальной беспощадностью взгляда
Сверкает богиня мести,

И слышу я голос медный:
«Свой меч я вырву из ножен,
Свой меч подниму я, победный,
И будет враг уничтожен!»

На светлый простор столетий,
На праздник труда и лиры
Выходит с пальмовой ветвью
Из мрака — богиня мира.

Береза

В дни великой славы боевой,
В дни суровой над врагом
расплаты,
Под моей развесистой листвою
Отдыхали русские солдаты.

Я рассказы слушала бойцов,
Как с утра, не замедля боя,
Шли они, в упор разя врагов,
В громе пушек, под дыханьем зноя

Их простые, точные слова,
Говор их, спокойно-величавый,
Передаст потом моя листва —
Как бессмертный голос русской
славы.

Каждому, кто сядет в тень мою
Кто пройдет, не отдыхая, мимо,
Золотую песню я спою
О бойцах моей страны любимой.

Русская луна

Медленно из-за леса всплывая,
Приветствует радость и боль —
она,

Наша обычная и простая,
Наша особенная луна,
Она не напомнит средневековье,
Разрушенный замок и колдовство,

Она человеческой теплой любовью
Согреет все мое существо.

И в ясном небе, и сквозь туманы,
В ущербном свете, и в полный
круг
Она не изменит — луна Татьяны —
Провинциальный, хороший друг.

В порыве нежности и восторга
Даю тебе русские имена...
Прекрасна луна у Жуля Ляфорга,
Но прекрасней и выше —
моя луна.

И если нужно, она суровой
Проглянет в соснах, на берегу:
Она сумеет нахмурить брови
И блеском клинка сверкнуть
врагу!

Родине

Я ритмом крови отмечать готов
Твой вдох и выдох в шопоте
лесов.

Улыбкой звезд, над кровлею
жилья,
Ты улыбнулась — звездная моя!

Вот — сердце. Ты его вложила
в грудь!
И мысль мою — лишь ты могла
вдохнуть.

И твой бессмертный дар —
родную речь —
В священный пламень ты дала
разжечь!

А. ДЮМА И ЕГО ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ

4 декабря исполнилось 75 лет со дня смерти Александра Дюма, знаменитого французского романиста, драматурга и «короля газетного фельетона».

Странная судьба у этой знаменитости. Его вещи уже читаются второе столетие. По всей вероятности, его еще долго будут читать. Но как часто его упрекали в легкомыслии, либо говорили о нем с усмешкой, а иные, как, например, Бальзак, даже с пренебрежением. Его жестоко «разносила» критика. Однако он остался.

Да, у него было много изъянов. Гораздо больше, чем у обыкновенного писателя. Он был неразборчив и многословен, он пользовался чужими мыслями, книгами и текстами. Часто ему не хватало стила, как будто он не был француз. И все же, без «Трех мушкетеров», без «Графа Монте-Кристо» нельзя себе представить французской литературы.

Действие, вот сила Дюма. Она покорила почти весь читающий мир. Недаром значится в числе его поклонников выдающийся умы человечества — Карл Маркс, Менделеев, Байрон... Их много! Это не маленькая очередь. Ламартин пишет о нем в 1853 году: «Вы сверхчеловек! Мое мнение о вас — это восклицательный знак!» Мишле сообщает ему из Нерви: «Я поражен вашим неукротимым талантом, применяющимся к стольким абсурдным требованиям, я поражен вашей героической твердостью». Холандский Мериме, чье искусство является полной противоположностью искусству Дюма, говорит о своем большом уважении к автору «Трех мушкетеров» и о том, что его он всегда предпочитал Вальтер Скотту.

Когда В. Гюго нанес смертельный удар своему старому другу Дюма, как это обыкновенно и делалось между старыми литературными друзьями, когда на славу Дюма лег черный покров, Гейне в своих статьях-письмах блестяще защитил ее. Он сорвал с нее траур, он рассказал о Дюма, как о человеке, открывшем для Франции Шекспира, как о сверкающем драматурге, который в своих пьесах «Эдмунд Кин», «Ричард Дарлингтон» и «Генрих III» создал новую школу французского трагического театра. Почти умирающий, парализованный и полуслепой Гейне наслаждался романами Дюма в дни своих наиболее сильных мучений, когда он мог шевелиться, только держась за веревку, висевшую над его постелью. «Дюма — наиболее замечательный рассказчик из всех, кого я знаю, — говорил он. — Какая легкость! Какая непринужденность! И какой он добрый мальчик!».

Это очень верно сказано. Вспоминаю сложную, противоречивую, яркую, пеструю жизнь Дюма, прежде всего воспринимаешь его, как человека добрых намерений, доброго свободного сердца, как человека революционной настроенности и демократических убеждений, несмотря на случившиеся с ним ошибки. Он участвовал, как мог и как умел, но со всем пылом, со всей страстью, на какие

Николай Никитин

Рисунки Т. Шшимаревой

только был способен, в общественных движениях Франции 1830-го и 1848 гг., он был другом Гарибальди и даже его соратником, и этот путь он избрал себе еще в юности, когда ему и проче и выгоднее было бы действовать иначе. Ведь он начал свою жизнь при восстановлении Бурбонов на троне, и его мать, мадам Дюма, очень практическая женщина, предложила сыну именоваться ее девичьей фамилией, стать Деви де Пайетри и этим самым в интересах карьеры приблизиться к дворянской среде. Так-то рода приемы были в нравах того времени. Дюма отказался. Нет, он будет попрежнему носить фамилию Дюма, фамилию своего отца, генерала-республиканца. Он не желает другого имени.

Это несколько затянувшееся предложение о значении Дюма совершенно необходимо, чтобы перейти к годам, предшествующим его поездке в Россию, чтобы понять образ Александра Дюма и объяснить характер этого писательского путешествия, результатом которого были три тома «Впечатлений от путешествия по России» (от Парижа до Астрахани), выпущенных в 1859 году, и четвертого тома, названного им «Кавказ».

Талант Дюма в эти годы уже угасал. Все значительное, все, чем он известен, было уже позади. Многим казалось, что он сделал все, что ему предназначено, что от него трудно ждать чего-нибудь интересного, а он все еще писал и пьесы, и романы, и статьи, он бесконечно истощал себя, гоняясь за славой и шумом. Именно для этого он затеял издание газеты «Мушкетер», страницы которой ему пришлось заполнять одному, так как от него сбежали даже его сотрудники. Однако не помогла и собственная газета! Постаревший д'Артаньян чутьем угадывал «симптомы антипатии», но еще не сдавался, еще не мог сломить своего бешеного темперамента, еще не хотел уйти на покой, подальше от непрекращающихся на него атак со стороны критики, издателей, антрепренеров и «друзей». Именно в это время неожиданно возникали против него, как грибы, судебные процессы. Как раз в эти годы родилось и знаменитое «дело Макэ», его бывшего друга и сотрудника. Макэ утверждал, что он был соавтором 18 романов. Дюма отчаянно боролся и победил. Работа Макэ была

признана судом только подготовительной. Но чего стоила эта победа!

В сущности говоря, этот «мушкетер» 55 лет, этот «африканец» с седеющей гривой уже прозябает.

От всех этих неприятностей он бежит в Марсель. Его там принимают, награждают аплодисментами в театре, поставившем его «Лесничего». Но кто он? Бродячий драматург, провинциальный «газетчик»? Это он-то, ктоюму когда-то тесно было в Париже! Неужели действительно все сделано? Ужасное состояние. Ну, пусть романы сейчас «не даются», пусть пьесы сходят с репертуара, есть еще что-то и другое, о чем он может сказать и что, в свою очередь, заставит людей о нем говорить! Он не может примириться с забвением. И, кроме того, деньги, деньги! Человек, постривший некогда виллу «Граф Монте-Кристо» на гонорары от этого романа (вилла стоила ему почти миллион франков), сейчас нуждается в какой-нибудь «сотне».

При этих грустных обстоятельствах он встречает с г-о Кушелевым. Тот приглашает его в Россию. Дюма не задумывается. В несколько минут поездка была решена.

Все за эту поездку — и настроение и обстоятельства. Там новый материал, о котором в Европе знают так мало, там знаменитый Севастополь, где еще так недавно стреляли пушки, там страна «гипербореев», и этот истый журналист бежит в Россию за сенсациями для читателей и для себя.

Он посетил обе столицы, объехал Поволжье и Финляндию и даже отправился на Кавказ. Он попрежнему неутомим, он пишет каждый день. Петербург ослепляет его, глядя с набережной на Неву, он пишет: «Я не знал, есть ли в мире какой-нибудь вид, который бы мог сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой», его поражают обширные русские пространства, он невероятно общителен, он непрерывно говорит, он произносит приветственные речи, он выслушивает с удовольствием панегирики в свою честь и, как ребенок, радуется тому, что эти «славные люди знают его Монте-Кристо», и, как литератор, прежде всего завязывает литературные связи с Некрасовским «Современником». Больше того, он покидает литературно-аристократический салон гр. Кушелева, где ему скучно, предпочитая его семье Панасевых и Некрасова.

Это произошло так: вначале он оставался у гр. Кушелева, издававшего



«Русское Слово», но затем просил Григоровича познакомить его с редакцией «Современника». Было лето 1858 года. Некрасов, Иван Панаев и А. Я. Головачева-Панаева жили на даче между Ораниенбаумом и Петергофом. Дача, построенная в швейцарском стиле, стояла в громадном, тенистом парке. Молодой Григорович, прекрасный рассказчик, великолепно говоривший по-французски, оказался для Дюма сущим кладом. Однажды, когда хозяйева сидели за завтраком в саду, на липовой длинной аллее показались коляски. Это был Григорович, он вез Дюма с целой свитой. Дюма с аппетитом позавтракал, остался обедать, а через несколько дней явился союда с чемоданом. Он был в восторге от русского хлебосольства. Хозяйка, чтобы испытать его, заказала специальный обед из русских блюд. Дюма ел все, что ему предлагалось: щи, пирог с кашей и рыбой, поросенка под хреном, жареные грибы, утки, он не испугался даже ботвиньи из свежесолосенной рыбы. Он попросил даже вторую тарелку и записал рецепт этого блюда. Вскоре в Петербурге ему был дан другой, уже официальный писательский обед, инцидентом которого также был Григорович, прозванный «нянюшкой Дюма».

Так началось это путешествие, после которого через год появились: «Впечатления от России». Любая энциклопедия, упоминая об этих трудах, сопровождает его указанием на их фантастичность. Да, там не мало найдется ошибок. Историческую часть этих книг можно воспринять как собрание анекдотов, как пересказ и перепечатку уже известных мемуаров, словом — это дорожный портфель. Бегло перебрасывая страницы этих четырех томов, можно подивиться невероятному трудолюбию и широте умственных интересов, и можно пожалеть, что эта голова, «обученная за три франка», не знала ни настоящего исторического метода, ни университетского образования.

Кстати, об ошибках. Да, он написал, что Пушкин родился в Пскове и умер срока восьмью лет, а Лермонтов — срока четырех. Он перепутал не одну дату. Но зато он же рассказал Франции, «среднему французу» о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, о художнике Иванове, о Глинке, Марлинском и также о своих русских литературных собраниях-современниках. Он попытался не только объяснить таланты, он в этих книгах перевел стихи Пушкина, Лермонтова, Полежаева и Некрасова.

Вопрос другой — каковы эти переводы? Он сам указывает на их слабость. Но в этом деле важно другое! Нашелся француз, который хоть как-то ознакомил Европу с историей России, с русской литературой, который рассказал о Рылеве, о его поэме «Войнаровский» и перевел отрывок из нее стихами. Это он представил Пушкина в различных жанрах, сказав, что эти стихи «не поэзия человека». Это Дюма поведал «китайцам» Европы о жизни и судьбе русского гения.

Словники, журналисты, поэты, крестьяне, бурлаки, помещики, полиция, киргизы, достопримечательности обеих столиц, знаменитые монастыри, волжские города, оренбургские степи, исторические экскурсии о московском периоде русской истории, о Петре, Екатерине II,



Павле, о заговоре Палена, о 1812 году в России, о Николае I, о декабристском движении и, наконец, уже о «злосудном дне», о Севастопольской кампании — таков диапазон его «Впечатлений».

Вернувшись в Париж с рассказами о России, он встречает успех. Он угадал. Он снова в центре внимания. Люди заслушиваются его рассказами, зачитываются его «Впечатлениями» и говорят о них. И даже скептики, даже враги, одобряя написанное, замечают Дюма: «Да, это не ваш Синай!.. Здесь видно иное. Наверное, действительно вы путешествовали по России?».

Подоплека этих саркастических замечаний следующая: когда-то в период своей славы Дюма выпустил книгу об Египте, о том, как он «восходил» на гору Синай. Противники тогда разоблачили его, утверждая, что он никогда не был на Синае.

Слушая сейчас об этом, Дюма с хохотом восклицает: «О! Дался вам Синай! Меня египетский паша благодарил за эту книгу... А без меня, что бы вы знали о Синае?».

И, как это ни странно, он был прав. Тем более, он был прав сейчас, издав «Впечатления о России». Истина там чередовалась с курьезами, вроде того, что скопцов Дюма называет расколниками и т. п. Вслед за мемуаристами он повторяет их небывальщицы. Однако картина исторического быта и живой, занимательный исторический анекдот не менее способствуют познанию истории, чем протокольное изложение фактов. Его же главы, посвященные русской литературе, даже с путаницей дат и с ошибками, все-таки имели огромное познавательное значение. Пусть и в этих главах немало заимствований, дело не в этом. Ведь легкомыслие Дюма подобно мудрости А. Франса, утверждавшего, что в искусстве либо всё плагиат, либо вовсе нет плагиата. Одно мне кажется совершенно неоспоримым: «веса» этих книг о России в международных культурных взаимоотношениях никто еще не ушел по-настоящему, как многое в его работах еще не учтено и требует пересмотра.

Дюма принято считать только мастером фабулы, только занимательным, увлекательным воображением повествователем. Но взгляните на него несколько иначе, и в тонких диалогах «Трех мушкетеров» вы почувствуете тот психоло-

гический анализ, которым прославился впоследствии Флобер; в описаниях французского общества и французских магистратов посленаполеоновской эпохи («Граф Монте-Кристо») вы увидите талант, который мог соперничать с Бальзаком; из физиологии «Могикан Парижа», из книги о художнике Делакруа как будто родились Золя и Гонкуры.

Так же значительна и так же огромна была роль Дюма, как европейского журналиста.

Надо отметить, что шум, вызванный его «Впечатлениями о России», снова всколыхнул его, как писателя и разжег к нему интерес. Театры опять обращаются к Дюма за пьесами. Возобновленная «Королева Марго» не сходит с репертуара. Дело дошло до того, что его приятель, поэт и гачтный критик, Теофиль Готье стал жаловаться, говоря, что ему надоело «давать отчеты о пьесах этого Дюма». Но это длилось недолго. Тема России, как допинг, лишь на время оживила его славу. Он уже угасал, подкрадывались болезни. Он сопротивлялся. Он начинал писать новые романы и бросал их, не кончив. Наконец, он сдался, он уехал к своему сыну, автору «Дамы с камелиями», на дачу. Он уехал «отдыхать» — первый раз в своей жизни. Но это было уже не отдыхом, а преддверием смерти.

Он умерал одиноко, «печально», как бы подсчитывая итоги жизни и сетуя, что он сделал много лишнего, что слишком много сору среди его жемчужин. Он жил вдали от Парижа, когда Наполеон III проигрывал пруссакам войну и вместе с нею свою империю. Дюма отнюдь не был его поклонником. Нет, он был патриотом Франции. Поэтому близкие скрывали от него правду. Как будто они боялись, что этот умирающий старик вдруг встанет с постели и уйдет в отряды «вольных стрелков»... Возможно! Ведь это был не только легкомысленный, но и великий талант, сильный, своеобразный, загорающийся и страстный, человечнейший человек. Прав Гюго, его соперник по театру, в конце концов примирившийся с ним и написавший ему, что он любит его с каждым днем все больше и больше, и не только потому что «Вы — тот, кто ослеплял своим блеском мой век», но и потому, что «Вы — одно из его утешений».

С Марией Гавриловной Савиной я познакомился много позднее, чем со всеми остальными александринцами. Участвовать мне с ней в одной пьесе все как-то не приходилось. На репетициях же, в которых она принимала участие, я мог наблюдать ее лишь издали.

Знакомство мое с Савиной произошло не в театре, а на дому у нашей знаменитой *grande dame* Екатерины Николаевны Жулевой. В день ее имени было принято паломничество всех александринцев на ее квартиру. Отправился и я. Когда я пришел, вся гостиница Екатерины Николаевны была полна визитерами. Между ними была и Мария Гавриловна Савина. Хозяйка стала меня знакомить с присутствующими, а когда очередь дошла до Савиной, Жулева бросила фразу: «Ну, а вас знакомить нечего — свои!» На это Савина, подавая мне руку для поцелуя, очень подчеркнуто, заметила: «Ах, очень даже не «нечего»... Мы еще до сих пор не знакомы». По тону, которым была сказана ее фраза, я понял, что она намекает на то, что я не удосужился нанести ей визит, чтобы представиться, как новый член труппы. А надо заметить, что тогда существовал обычай, что каждый только что принятый новичок делает визиты всем премьерам театра. Я не последовал этому обычаю, мне не хотелось, чтоб меня заподозрили в каком-либо искательствах, а теперь вот я и расплачивался за свою шепетильность.

Познакомившись со всеми, мне пришлось сесть на единственное свободное кресло, как раз рядом с Марией Гавриловной Савиной. Она заговорила со мной. Речь зашла о последней новинке Александринского театра. Тогда, только что накануне, прошла премьера комедии Виктора Крылова под названием «Первая муча», имевшая, благодаря исключительному исполнению, большой успех у публики. А вначале давалась одноактная пьеса А. С. Суворина «Он в отставке» (совсем как нововременский фельетон) на тему о только-что получившем отставку министре путей сообщения. Я совершенно откровенно высказался о том и о другом произведении и выразил свое недоумение: каким образом эти обе пьесы могли попасть на сцену серьезного театра.

По поводу сказать, я опасался, что Савиной такой резкий приговор в устах совсем еще молодого актера мог показаться не совсем скромным и не совсем тактичным, но, к моему удивлению, Савина его приняла не так, как я ожидал. Правда, сначала мне показалось, что она хочет меня, как говорится, поставить на место, обрвать... Мария Гавриловна так пристально и как-то внимательно посмотрела на меня своими выразительными глазами, что, по правде сказать, я даже сначала немного оробел... Вот — подумал, — какой я сделал ляпсус. Достанется же мне теперь от нее на орехи... Ничего подобного. Савина очень серьезно отнеслась к моим словам. И, помимоному, в душе даже одобрила мое... ну, скажем, такое самостоятельное суждение о спектакле, тем более, что спектакль этот имел столь шумный успех.

Упоминаю об этом только потому, что наша первая и короткая беседа дала тон дальнейшим нашим взаимоотношениям.

М.Г. САВИНА

Народный артист
Ю. Юрьев

Мария Гавриловна царила в Александринском театре, любила царить и умела царить. «Сцена — моя жизнь!» — вот девиз Савиной. И она хотела жить, хотела в своей жизни иметь большое значение и успех. К тому же прекрасно сознавала, что имела на то все права. Но это ей давалось нелегко. За кулисами велась борьба, борьба за власть, за свое влияние. Нужно было быть всегда начеку. Ее выдающийся ум, ум скорее мужского склада, давал ей возможность хорошо ориентироваться в закулисной жизни театра. Она знала каждого наизусть, видела всех насквозь, предугадывала их намерения и во-время нажимала необходимые кнопки сложнейшего театрального механизма и выходила всегда победительницей из каждого затруднительного положения, как самый искусный шахматный игрок.

Так было в самом театре, в самых недрах его, за кулисами. Но ей приходилось вести и еще борьбу и, может быть, борьбу гораздо сложнее той, о которой только что велась речь. Борьбу со вкусами петербургской публики.

В этом отношении московские артисты — в более счастливых условиях. Москвичи были ближе к подлинным задачам театра, чем большинство тогдашних петербуржцев. Петербург — чиновно-бюрократический город, где «двор» и блестящая гвардия давали тон всей столице. Ясно, что такого рода публика, с присущими ей нравами и обычаями, всегда была более склонна к развлекательным представлениям и чуралась серьезного начала театра. Драмы, мол, и в жизни надоели. Приходилось, как-никак, считаться и с этим печальным обстоятельством, тем более, что влияние высших столичных сфер постоянно давало себя чувствовать. Савина прекрасно сознавала, что тут на одном Островском или Тургеневе далеко не уедешь, и ей приходилось лавировать и делать всевозможные поправки, чтобы приручить публику и привлечь ее внимание к театру. Но, на несчастье, талант Марии Гавриловны, по преимуществу, комедийный. Ей ничего не стоило из простого пустячка сделать своего рода шедевр. А они — эти пустячки — всегда доходчивей для петербуржцев, падки больше до пустячков, чем до ее больших, серьезных созданий. И в этом — ее трагедия.

Савина — серьезная, блестящая, тонкая артистка, создавшая целую галерею незабвенных образов ценнейшего русского репертуара. Но наряду с ними ей приходилось, по тем или иным причинам, играть и всевозможные пустячки, где она была так же совершенна, как и в серьезных ролях.

И вот, почему-то, по какому-то недоразумению чаще принято оценивать эту замечательную артистку как раз по ролям, недостойным ее выдающегося таланта, а не по ценным ее созданиям. Вероятно, потому, что она и в них была по-настоящему виртуозна.

К сожалению и в настоящее время некоторые театроведы недооценивают большого значения Савиной в истории

русского театра. Они обрушиваются на замечательные ее пустячки и не хотят видеть и помнить за ними большие ее полотна, полные прелести и таланта, которыми должен гордиться каждый русский человек, хоть сколько-нибудь разбирающийся в искусстве.

Пусть эти, с позволения сказать, театроведы, берущие на себя смелость так легкомысленно, тенденциозно и односторонне судить о явлении далеко не заурядном, не так уже часто встречающемся в нашей жизни, пусть вспомнят полностью все богатство, оставленное нам в наследство Савиной. И если они сами не были свидетелями всех ее созданий, то пусть спросят тех, кто имел счастье наслаждаться ими, и они скажут: «Кто когда-либо играл и играет теперь так, как играла Савина, дочку городничего — Марию Антонову? Кто когда-либо играл и играет теперь так, как Савина, жену городничего — Анну Андреевну? Или Верочку, а потом с годами Наталью Петровну из тургеневского «Месяца в деревне»? А Акулину из «Власти тьмы» Льва Толстого, Анюту — жену Иванова из пьесы Чехова «Иванов». И, наконец, в репертуаре Островского, где что ни роль, то совершенство... «На всякого мудреца», «Невольника», «Шутники», «Горячее сердце», «Поздняя любовь», «Дикарка» и т. д. Всего не перечислишь».

Что ж, это мало, чтоб Савиной быть Савиной? И чтоб все это не могло перевесить чашку весов с блестящими ее пустячками? — Начино думать!

Известно, что Савина отождествляется с тургеневскими женщинами. Сам автор восхищался Савиной в ролях своих произведений. Я не застал ее, играющей Верочку из «Месяца в деревне», но однажды она продемонстрировала в небольшом кругу молодежи одну из лучших ролей своего прошлого. И это было целое откровение! Мы поняли тогда, что такое тонкое и глубокое исполнение. Несмотря на то, что уже годы были не те и что она была без грима и костюма, все равно, впечатление получилось от ее исполнения огромное.

Ее Верочка напоминала благоухающий цветок, нежный бутон розы, не успевший еще вполне распуститься. Столько было чистоты, непорочности, непосредственности и обаяния!

Нужно быть большим сердцеведом, как Савина, чтобы проникнуть в такие глубины молодой души и подслушать, что происходит в ней.

Не один раз смотрел я Савину в Наталье Петровне. Ее Наталья Петровна точно сошла с портрета, старинного фамильного портрета, какие обыкновенно висели над большим диваном в кабинете какого-нибудь барского особняка или поместья.

Весь ее облик полон благородства. Простая, гладкая прическа на прямой пробор темных ее волос, как нельзя более, гармонировала со строгим тоном поостого и все же шикарного ее платья. Темные, умные ее глаза задумчивы... Они то подернуты дымкой грусти, то внезапно озаряются блеском в мечте о любимом человеке. Вся она собранная, корректная, вся стильная до конца. Ее походка, все движения, манера говорить, музыка ее речи изобличали стиль той эпохи и той среды, к которой она принадлежала. Полная гармония в целом.

как одно музыкальное прозвучание в духе Моцарта.

Ее партнер — Василий Пантелеевич Дамаатов, игравший друга Натальи Петровны — Ракитина, ей вторил и был на той же высоте, что и Савина.

Ракитин обожает Наталью Петровну, тайно любит ее, но никогда не говорит о своей любви. Однако Наталья Петровна ее чувствует. Он разгадывает, что происходит с ней, с болью ощущает ее увлечение молодым студентом Беляевым, так неравным ей по возрасту. Видит, как она, сознавая всю фальшь своего положения, безрезультатно борется сама с собою, и страдает больше за своего друга, чем за самого себя.

Наталья Петровна ясно все переживая Ракитина и, глубоко ценя бескорыстную преданность человека, так близкого ей по духу, она мучительно сознает, что она-то и является причиной тяжелых его переживаний.

Все диалоги Натальи Петровны и Ракитина у Савиной и Далматова забываемы по своей тонкости и глубине... Из чувства деликатности они не договаривали, ничего не называли своими словами, но, тем не менее, не только с полуслова, но даже тогда, когда они молчали, отлично чувствовали и понимали друг друга.

Хорошо помню одну их паузу. Длительную паузу. Тяжело переживая создавшееся положение, Дамаатов-Ракитин подошел к раскрытому окну и долго смотрел в сад, весь залитый ярким солнцем, и молчал, скрывая свое лицо от публики. Савина — Наталья Петровна оставалась сидеть в кресле у стола посреди сцены и наблюдала за ним. Вот и все... Кажется, очень просто. Но как сложна была эта длительная пауза и как красноречива. По спине Далматова в по его неподвижной фигуре и по выражению лица Савиной вы ясно читали всю сложную, запутанную драму, которую они испытывали, и вам понятны были их взаимоотношения. Несмотря на длительность паузы, она производила сильнейшее впечатление, и вам не хотелось, чтоб она прерывалась.

Теперь — Акулина из «Власти тьмы». Кто бы здесь узнал Савину, всегда изящную, шикарную? Кто бы мог предположить, что из корректной, хорошо воспитанной светской дамы — Натальи Петровны, с ее изысканными манерами и рафинированной психологией она вдруг превратится в угловатую, тупую, грубую деревенскую бабу, делающую все броском и с рыва. Полное перевоплощение, и ни на одну ноту нарочитости, какого-нибудь переигрывания. Все так органично, естественно.

А ее Марья Антоновна из «Ревизора» — такое же непревзойденное исполнение, как и ермоловская Жанна Д'Арк. Она ее играла даже в зрелом возрасте, заставляя забывать свои годы.

Между прочим, Мария Гавриловна рассказывала, как она долго билась с этой ролью, которая сначала ей не удавалась. Совсем не улавливала ритм речи, ее музыку; не знала, как двигаться, как говорить, а кроме того, как всегда в подобных случаях, с трудом запоминала и текст — словом, не чувствовала роли. Но вот, она надела на себя платье, загримировалась, причесалась по рисунку. Подошла к большому зеркалу, увидела себя во весь рост и, вспомнив какую-то фразу из роли, улыб-

нулась, потом, смотря на свое отражение, несколько раз повернувшись на одном месте, сделала глубокий реверанс и вдруг сразу узнала подлинную Марью Антоновну, и ей стало все ясно. Отсюда, от ее внешнего вида, от улыбки, от реверанса пошло все — и тон, и интонация, и движения. Ей уже не нужно было думать о них, они сами собой вытекали, раз она почувствовала образ.

Вот как родилась ее Марья Антоновна — эта провинциальная барышня в коротком платьице, разукрашенном бантиками и ленточками; по-провинциальному жеманная, не в меру застенчивая перед столичным гостем, с какими-то особенными характерными движениями и навивным тоном, так сливающимся со всем ее обликом.

Я не стану здесь перечислять все роли Марии Гавриловны Савиной. Чтобы списать более или менее подробно и иметь хотя бы приблизительное понятие о том, как их играла Савина, нужен особый труд, который едва ли вместился бы в один том.

Как было сказано выше, Мария Гавриловна, преимущественно, комедийная артистка, причем слово «комедийная», нужно понимать в широком смысле. Это совсем не значит, что Савина — комик. Ей доступна была, как мы видим из перечисленных ее ролей, — и драма. Будет правильной сказать, Савина — не трагедийная артистка. Вот, трагедию она, действительно, совсем не умела играть. Эта область была чужда ей. Когда Савиной приходилось выступать в трагедийной роли, она была беспомощна в полном смысле этого слова.

Помню ее играющей героическую роль Зейнаб в Сумбатовской «Измене», и надо прямо сказать, что в ней она была просто жалка. Она сама прекрасно знавала это.

Однажды на одном из спектаклей «Измены» Савина обратилась ко мне в антракте: «Послушайте вы, классический мальчик, — так Савина меня обыкновенно называла за мою склонность к классическому репертуару, — научите меня, как справиться с подобными ролями? Я, право, не знаю, как мне и приступить к этой орясине, — так она тогда окрестила роль Зейнаб. — Не знаю, как разговаривать... Как сделать так, чтоб речь зазвучала?»

И действительно, все попытки Савиной в этом направлении терпели полнейшее фиаско. Для героического репертуара она была слишком, я бы сказал, «земная» артистка. Она знала такое свойство за собой и всячески избегала браться за героиню.

Нужно ли говорить, как Савина играла в современном репертуаре? Например, в «Симфонии» Модеста Чайковского, в пьесе Сумбатова «Цепи», в «Мисс Гоббс» Джерома и в более легких пьесах, как «Надо разводиться», «Тетенька», «История одного увлечения» и т. д. Все эти роли — уникальны.

Петербургская премьерша Савина сильно отличалась от московской премьерши Ермоловой. Первая — комедийная, вторая — более трагедийная. Но и тогда, когда они встречались в одних и тех же ролях, они представляли собой полную противоположность. Так различны были их манеры и подход к творчеству.

Ермолова отличалась тем, что она всегда идеализировала, пыталась в каждом изображаемом ею образе, хотя бы

и сугубо отрицательном, найти положительные стороны. Была, как всегда говорили про нее, адвокатом всякой своей роли. Савина никогда этого не делала, а, наоборот, старалась всячески бичевать пороки. Так это было, например, с Еленой Протич из «Симфонии» Модеста Чайковского, где они обе изображали интриганку — известную оперную певицу.

Да и приемы и способы их творчества — общего между собою не имели, их краски были различны. Ермолова, как и подобает трагической артистке, фигурально выражаясь, пользовалась масляными красками и писала жирными, крупными мазками. Ее творчество напоминало творчество Сурикова, Репина, тогда как Савина никогда не писала маслом. Все ее создания — акварель, тонкая, изящная, красочная.

Мне часто приходится слышать: «Вот вы все говорите: Ермолова, Савина, Федотова, Лешковская, Самарин, Ленский, Давыдов, Варламов и т. д. А, может быть, они были хороши только для своего времени, а теперь, вероятно, они не дошли бы до нас. Мы живем в другое время, у нас другие требования к искусству вообще, и в частности, к театру. Сценическое искусство эволюционировало, не стоит на одном месте, оно ушло далеко вперед».

Все это так и не так. Ведь вот Эсхил, Софокл, Эврипид, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Шекспир, Шиллер, Лопе-де Вега, Кальдерон, Сервантес и, наконец, наши: Грибоедов, Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Достоевский, Островский и многие другие — и они ведь люди прошлого, и многие из них — далекого прошлого, а некоторые, заметьте, являются как раз современниками только-что вышеперечисленных актеров. Почему они не только для своего времени? — Нет, они живут и по сейчас. Их творчество в полной мере отвечает нашим современным требованиям и, очевидно, будет отвечать требованиям еще не одного грядущего поколения человечества.

Несчастливы актеры! Только их достижения вызывают сомнение и неверие в их долговечность, а вот в долговечности великих мастеров большинства смежных искусств никто не сомневается только потому, что у них остаются вещественные доказательства их творческой жизни. Так почему же должно предполагать, что актеры непременно хуже своих собратьев в другой области искусства? Неужели только потому, что актер, умирая, уносит с собой в могилу и все содеянное им?

Это не довод. И в области сценического искусства могли быть и — я утверждаю — были равные таланту и Льва Толстого, и Достоевского, и Островского. Они жили и творили в одну эпоху с ними. Так почему же все актерское должно быть в прошлом и только для своего времени, а Островский, Лев Толстой, Достоевский и им подобные живут и будут жить и впредь и продолжать питать творчество своих наследников?

Ясно, что это не так. И я утверждаю, что все, кто имел счастье наслаждаться игрой наших больших актеров, будут одного мнения со мной. Найдется ли хоть один из них, который бы ска-

вал: «Да, но все это в прошлом, это все только для своего времени». Можно только пожалеть, что не было и нет еще такого способа, чтоб увековечивать исполнение выдающихся мастеров сцены.

Если б была такая возможность, то была бы возможность и продемонстрировать в назидание потомству их наследие, подобно тому, как демонстрируются в наших галереях образцы другой области искусства. Тогда воочию убедились бы, что Ермолова, Савина, Лешковская, Ленский и им подобные все еще живы и все содеянное ими отнюдь не только для своего времени.

Савина — звезда русской сцены первой величины, создавшая много крупных образов серьезного репертуара. Она обладала яркой индивидуальностью. Ее творчество в высшей степени своеобразно. Оно было тесно связано с наличием всех ее данных как внутренних, так и внешних, присущих только ей одной. Всякое подражание Савиной всегда терпело и должно было терпеть неудачу.

Но, тем не менее, научиться у нее можно было многому. И прежде всего, умению обращаться с внутренним миром изображаемого лица. К каждому его переживанию она подходила с такою бережностью, осторожностью, я бы даже сказал — деликатностью, как к чему-то хрупкому, как бы боясь излишним прикосновением или бесцеремненным вторжением оскорбить святое святых человека — его душевный мир. И вот почему все ее создания отличались тонкостью, благородством и никогда не были грубыми, прямолинейными и захватаны.

Кроме того, савинские интонации поражали изощренностью и разнообразием, особенно в диалогах, и, наоборот, я бы сказал, что монологи Савиной скорее не удавались; они, как это ни странно, всегда были у нее неприятно однотонны; она не умела их произносить, тогда как диалог ее — полная противоположность. Быстрая смена самых разнообразных шрифтов речи, темпа, игра ритма и всевозможные оттенки красок — вот отличительные черты ее диалога. В этой области она была в полном смысле слова виртуозом.

Я не думаю, что изощренные савинские диалоги — достояние какой-либо школы, которой она добивалась упорным трудом, — нет, насколько я мог понять, тщательно приглядываясь к ее творчеству, у Марии Гавриловны это свое, непосредственное, органическое, собственное. Иначе она не могла, так она чувствовала, так и выражала свое чувство.

Должен сознаться, я много позаимствовал у Савиной для ведения диалога в комедийных ролях своего репертуара.

Савина — дочь небогатых родителей. Отец ее — Стремлянов — когда-то учитель чистописания в Харькове, где и родилась Мария Гавриловна.

Последние же годы своей жизни он был выходным актером Александринского театра, где я с ним и познакомился.

Он был типичным сереньким провинциалом, мещанского склада, и ничего собой не представлял. Со своей знаменитой дочерью, по всей видимости, был не в ладах.

Савина очень рано начала свою артистическую деятельность, прошла все стадии ее, начиная, как тогда полагаю, с самых маленьких ролей, но долго на них не задержалась, быстро пошла вверх. Совсем еще молоденькой девушкой вышла замуж за известного тогда провинциального актера на амбула героя-любовника, Савина, чье имя с тех пор и носила всю свою жизнь. Брак был непродолжительным, она быстро рассталась со своим мужем, не отличавшимся какими-либо моральными качествами.

Меж тем популярность Марии Гавриловны росла с каждым годом, что и привело ее в лучшую по тем временам провинциальную антрепризу Петра Михайловича Медведева в Казани, где под его умелым руководством она окончательно формируется в первоклассную актрису. Вскоре она дебютирует в Александринском театре, сразу там завоевывает первое положение и становится премьершей.

При моем вступлении в петербургскую труппу в 1893 году я застал Савину в расцвете ее сил, в полной славе, когда она царяла на сцене.

Никаких признаков ее прошлого. Подлинная петербургская светская дама хорошего тона.

Все в ней было шикарно: уметь держать себя, одеваться со вкусом, строго. Никаких лишних украшений: два-три кольца, брошка и цепочка через шею от лорнета — все в высшей степени скромно, просто.

У Савиной были замечательные глаза, глаза, обращающие на себя внимание каждого: темные, остро выразительные, умные, пронзительные.

Примечательно то, что и все наши знаменитейшие артистки имели необыкновенные глаза. Савина, Ермолова, Федотова, Комиссаржевская — все они обладали глазами, сразу запечатлевающимися.

У Ермоловой они совсем иного характера и не такие большие, как у Савиной, но необычайно отражали всю ее сущность. Всегда «отсутствующие» здесь, одухотворенные, устремленные куда-то вверх, как будто ее никогда не покидает вдохновение.

Серовский портрет Ермоловой, как нельзя лучше, передал ее глаза и через них выявил все ермоловское.

У Федотовой, наоборот, глаза всегда тут. Живые, все вокруг читающие, пронизывающие вас насквозь и, что особенно замечательно, — молодые, полные свежести и энергии. Такими они оставались до ее глубокой старости. Последний раз, когда я навещал ее, совсем уже больную, не покидавшую постель, мне навсегда врезалась в память ее голова, лежавшая на подушке в белом чепе с кружевной оторочкой и, главным образом, ее глаза, все те же федотовские глаза, большие, свежие, до поразительности молодые, которые никак не поддавались ее немощи. Вообще, надо сказать, Гликерия Николаевна Федотова поражала своею жизнеспособностью. Много лет подряд она была прикована болезнью сначала к креслу, а потом к постели, но дух ее не умирал. Телом она была оторвана от театра, которому отдала всю свою жизнь, и, подобно Савиной, с полным правом могла бы сказать: «Сцена — моя жизнь». Несмотря на свою болезнь,

Федотова постоянно жила интересами своего родного театра. Ее часто навещали артисты, ставили ее в известность обо всем, что там происходит, она радовалась их удачам, сгорчалась их неудачами и болела за них душой. Помогала советами, проходила роли с артистами, — словом, сердце ее жило театром и билось одним с ним пульсом. Она пользовалась громадным авторитетом вплоть до самой своей смерти. Вот чем можно и объяснить тот огонь, который всегда горел в ее глазах.

У Веры Федоровны Комиссаржевской глаза были другого характера, ближе к ермоловским. Такие же одухотворенные, но они не витали в облаках, как у Марьи Николаевны, а вбирали все вокруг себя и пропускали все через свое я. Большие, умные, озаренные всегда мыслью, чутко прислушивающиеся ко всему, что происходит у нее в душе... Видно было в них, что у нее все через себя. Если хотите, некрасивое ее лицо приобретало особую привлекательность, благодаря ее вдумчивым, серьезным, выразительным глазам, в которых, как в зеркале, отражалась вся внутренняя жизнь Комиссаржевской.

Савина в театре держалась особняком. Всегда мила, предупредительна со всеми, но близко к себе никого не подпускала. Почти ни у кого не бывала, да и ее, кроме официальных визитеров по каким-нибудь торжественным дням, никто не посещал. Несмотря на общительный характер ее поведения за кулисами, она иногда не могла себе отказать ало поостроумничать, причем всегда очень метко. Вот одно из ее многочисленных «мо»: некоторое время художественной жизнью нашего театра руководил известный профессор, академик — Нестор Котляревский. Весьма почтенный человек, всеми уважаемый, но театром интересовался мало, все работы о нем передовал режиссеру-администратору Андрею Николаевичу Лаврентьеву. И вот, когда однажды кто-то любопытствовал у Савиной и спросил, как нам теперь работает при нем, Савина, ничтоже сумняшеся, изрекла: «Котляревский — это аппендицит Александринского театра». И этой одной своей фразой Савина четко определила лицо Котляревского в нашем театре.

Савина ужасно как волновалась, когда у нее новая роль. Видно было, что она каждый раз не доверяла себе, всегда сомневалась, и ей все казалось, что у нее ничего не выйдет; но она тщательно старалась это скрыть от других. На репетициях нервничала, все было не по ней, часто демонстрировала несостоятельность режиссера, особенно Карпова, и провала его кучером, ямщиком, которому, мол, в пору управлять тройкой от Ечкина, но только не Александринским театром. Все это до тех пор, пока она еще не обрела себя, пока она не почувствовала роль. Как только она нащупывала образ, Савина на репетициях преображалась. И помину нет ее нервности, раздражительности, придирчивости. Тогда все хорошо, все мило, и она весела, оживлена; сгущенная атмосфера на репетициях для всех разряжалась, как после грозовой тучи.

В то время новые спектакли ставились часто — от 10 до 12 спектаклей

в сезон, а то и больше. Работа шла интенсивней — успевали. Умели быстро работать. Но никогда полного результата своей работы не выказывали даже на генеральных репетициях, которые носили совсем иной характер, чем в наши дни. Знаменитые савинские туалеты (она славилась своими туалетами) демонстрировались ею лишь на премьере. Спектакль определялся на первом представлении при полном зрительском зале. Генеральные репетиции происходили без публички, и многие, в том числе и Савина, не чувствуя зрителя, не могла играть «во всю». Оставляли окончательное завершение роли до премьеры, когда ощущение зрителя будет помогать их творчеству. Поэтому первое представление для каждого александринца ставило своего рода вопрос: «Быть или не быть?» Отсюда — весьма понятное волнение перед премьерой.

Я помню Савину перед ее выходом на сцену в новой роли. Она едва владела собой... Вышла в каком-то чаду и не только сразу спутала текст первой фразы, но и путала всю первую сцену, пока не сумела взять себя в руки...

Савина в театре — одно, а вне театра — другое. Как будто два совершенно разных человека. Кто Савину знал только по театру, тот будет одного о ней мнения и будет отзываться о ней не особо положительно. Кому же довелось соприкасаться с ней вне сферы театра, тот будет другого мнения о ней.

Савина, прежде всего, по своей натуре была общественница и, несомненно, добрый человек. Пройдя суровую школу провинциальной актрисы, она вечно хлопотала о нуждах провинциальной братии, особенно актрис. Она прекрасно знала, как туго им приходится по части гардероба. Чтобы занимать положение в провинции, актрисе необходимо было иметь гардероб. Актриса, хоть самая расталантившая, без гардероба никак не котировалась, ей грош цена, и ее неохотно приглашали к себе антрепренеры, особенно в крупных театральных центрах. И Савина всегда приходила им на помощь. В конце каждого сезона она разбирала свой гардероб и костюмы из пьес, сошедших с репертуара, рассылала тем, которые особо нуждались в них, чем выводила многих из их затруднительного положения.

Савина с самого основания была председателем Убежища для престарелых артистов и в жизни Театрального общества принимала самое деятельное участие. Надо было видеть, с какой любовью она отдавалась заботам о «стариках» и как они за это ее боготворили. Она постоянно бывала у них, привозила им подарки, узнавала их нужды и всячески старалась пойти им навстречу. Делала все, чтобы их связь с театром не прерывалась. Доставала им ложи на спектакли, устраивала в Убежище концерты, на которые охотно отзывались все лучшие артисты. Особенной торжественностью отличался традиционный концерт под Рождество. В этот день у стариков собиралось все лучшее, что было на петербургской сцене. Сначала пели, танцевали, музицировали, а потом все садились за чайный стол, уставленный легкой закуской, тортами, конфетами, фруктами. Старик вспоминали свое и чужое прошлое, свои и чужие успехи, игру той или иной

провинциальной знаменитости. Интересные были беседы, много можно было почерпнуть из этих содержательных воспоминаний, часто пригодных на страницы истории театра. И так до 12 часов. В 12 часов все участники приглашались на дом к Савиной. Там всех ждал роскошный ужин. Савина — редчайшая хозяйка, никто бы не сказал, глядя на нее, что она может быть такой.

Гостеприимство в ней — чисто русское, я бы даже сказал — московское. Заботлива до мелочей. Она, например, знала, что я очень люблю сметки, поджаренные на сковородке, которые однажды я похвалил, будучи у нее. И каждый раз, когда я приглашался к ней, я знал, что сметки «имени классического мальчика Юрьева» будут на столе. Она их сама каким-то особым способом приготавливала. Радужная, веселая, оживленная, она давала тон всем собравшимся у нее. Актеры, когда чувствуют непринужденность, в своей среде, необыкновенно как-то умеют веселиться и быть занятыми. Во время ужина разговоры, споры о театре сменялись смешными рассказами, анекдотами и даже дурачествами. Тут Озаровский имитирует итальянского трагика или русскую шансонетку. Режиссер Санин изображает «отчаянную ездку циркового наездника на неоседланной лошади». Усачев изображает на гладком полу канатоходца или на вывернутых внутрь ступнями ногах пресмешно танцует мазурку; Фигнер что-то поет, спрятав свои руки, а Якевлев ухитряется, пропустив свои руки под руки Фигнера, делать за Фигнера забавные жесты. Савина при этом покатывается со смеху, смеясь в буквальном смысле до слез. — Вот Савина дома. Куда же девалась неприступность Савиной — премьерши Александринского театра?

Савина — директор Театральных курсов имени А. С. Суворина — отдавала этим курсам все свое свободное время. Сама она не имела своего класса, но внимательно следила за занятиями каждого ученика, давала им советы, как держаться на сцене, как носить платье, как обращаться со шлейфом, а также большое внимание обращала на их воспитание. Учила актерской этике, преследовала богому, амкишонство учениц с учениками. Беда, если она заметит, что ученик целует руку у девушки. Сейчас же на них набросится: «Что это вы на ней женитесь, что ли? Или находитесь в каких-нибудь отношениях? А если нет, то какое же вы имеете право ее компрометировать. Только у замужних женщин целуют руку или у своей невесты». Еще хуже, если заметит, что какая-либо из учениц подкрашивается, подводит глаза или румянится (к слову сказать, Мария Гавриловна в жизни никогда не употребляла никакой косметики), — Савина сейчас же берет ее под руку, ведет к умывальнику, подает полотенце и тут же требует, чтобы она при ней же все краски смыла со своего лица. Она считала, что грим в жизни — признак дурного тона, и всячески преследовала его среди учениц, как будущих актрис, которые должны не только своим поведением, но и своим видом поднимать актерское реноме.

Мне несколько раз доводилось ездить с Савиной в гастрольные поездки по провинции, чаще летом. Савина очаро-

вывала своей приветливостью. Ничего общего с тем, как она держалась в Александринском театре. Она любила играть в провинциальных городах, имела всегда шумный успех и чувствовала себя, если можно так выразиться, как рыба в воде. Играя каждый день ведущие роли, никогда не выказывала утомления. Бывали иногда дневные репетиции, она, как всегда, на них — первая. Вечером, после спектакля, мы обыкновенно в небольшой компании ужинали с ней в ресторане, а иногда отправлялись куда-нибудь за город и там на воздухе совершали свою трапезу. Перед спектаклем, не позднее трех часов, обед, но уже более уединенный, у нас в номере, обыкновенно мы троим: Савина, ее администратор, который всегда возил Савину во все ее поездки — наш режиссер Александринского театра — Анатолий Иванович Долинов, и обыкновенно приглашался я. Необычайно приятно проходили эти обеды, всегда так интересны и содержательны были ее беседы. Она так много знала, так всем интересовалась, и суждения ее отличались самобытностью и никогда не были банальны. За столом приятно было на нее смотреть. Сама она такая изящная и так же умела изящно есть (такое качество, я бы сказал, далеко не у всех), причем всегда с хорошим аппетитом, как бы смакуя каждое блюдо, и всегда в хорошем настроении.

В этом отношении она мне напоминала француженку. Когда я был в Париже, я заметил, что французы за столом всегда в каком-то праздничном настроении, они как бы священнодействуют. Каждому блюду радуются, ахают, восторгаются им прежде, чем примутся за него. Недаром у них принято переодеваться перед обедом, в особенности, когда приглашаются дамы. Кавалеры надевают фрак или смокинги, дамы — в вечерних туалетах.

Когда гастроль приходила к концу, то Мария Гавриловна устраивала для всей труппы ужин после спектакля.

Я нарочно так долго останавливаюсь на всех подробностях, освещающих Марию Гавриловну совсем с иной стороны, для того, чтобы показать, что Савина без освещения разных сторон, не есть еще Савина. Привычно представлять ее такой, какой она обыкновенно была, так сказать, на своем посту, во время исполнения своих обязанностей. Там у нее выработана своя тактика, вызванная обстоятельствами, той обстановкой, в которой протекала тогда жизнь театра. Быть может, можно ее и обвинять во многом, но, быть может, можно во многом и оправдать. Это дело взглядов каждого. Я имел возможность наблюдать ее в официальной ее жизни я в домашней обстановке и скажу, что Савина — большой человек и большого ума, содержательный, самостоятельно прививший себе культуру, всесторонне образованный. И этим всем она обязана только самой себе. Отнюдь не своей среде, в которой она выросла, не своему воспитанию, которого у нее не было, не первоначальному образованию. Все ее достижения — благоприобретенные на ходу, во время ее сценической деятельности. Надо быть очень одаренной натурой, своего рода самородком, чтобы при этом достичь тех результатов, которых она достигла.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ДИПЛОМАТИИ

1

Академик Е. Тарле

Апломатические отношения Советского государства с первых дней его существования свидетельствуют о том, что у нас окончательно выработались и окрепли повышенные морально-политические требования и понятия, которые представляют собой значительнейший прогрессивный шаг в развитии науки международного права. Советским морально-дипломатическим требованиям и понятиям суждено, конечно, постепенно распространяться среди цивилизованных народов земного шара в неразрывной связи с общим прогрессом социального строя. Мы не признаем ни готтентотской империалистической морали, возводящей в идеал всякую войну, лишь бы она окончилась удачным ограблением соседа, ни пацифистского воззрения, по которому всякая война преступна, потому что она есть война. Если советский народ пришел к мысли, что можно и должно делить войны на справедливые и несправедливые, то он сделал это именно потому, что отвергает законность и желательность превращение истории человечества в сожительство волков и овец и полагает, что существование особой морали именно и вызывает полный расцвет и беспрепятственное торжество морали волчьей.

Наше поколение видело сначала на печальном и постыдном примере Западной Европы яркую иллюстрацию того, к чему приводит в конечном счете «пацифистское» стремление удовлетворить обнаглевшего хищника бесконечными уступками, а затем мы видели и то, каким способом можно в самом деле усмирить и обезвредить разбойника, слишком понадеявшегося на свою безнаказанность. Все, без единого исключения, войны, которые пришлось вести советской власти за все время ее существования, были войнами справедливыми, войнами, имевшими целью оборону национального достоинства и государственной независимости от агрессора. Если с точки зрения этого высокого критерия, выработанного нашей советской действительностью, подойти и анализу русской дипломатии и русских войн екатерининского периода, то, конечно, никому не может и в голову прийти приравнять эти войны к той, скажем, войне против немецкой орды, которую народы Советского Союза вели с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года или вели в 1918—1921 годах против интервентов или в 1920 году против грабительского набега Пилсудского и пилсудчиков (если даже говорить только о Европе, умалчивая об Азии, о Хасане и Халхинголе).

При Екатерине II России приходилось вести и оборонительные войны: против шведов в 1788—1790 гг., против западного турецкого нападения в 1787 г. Да и в 1768 году инициатива открытия военных действий принадлежала исключительно Турции, а вовсе не России. С этим никогда не спорили современники, даже враждебные России.

Утверждать, что Екатерина II вела или хотя бы даже стремилась вести только оборонительные войны, было бы столь же неосновательно, как настаивать, например, на том, что она воевала с Турцией с целью изгнать из Европы варварство и насадить истинное энциклопедическое просвещение в Константинополе. А ведь старик Вольтер ее и за это хвалил не только в стихах, но и в прозе!

Для правильного уяснения мотивов внешнеполитической деятельности Екатерины должно их рассматривать в свете тех понятий и тех обстоятельств, которые царили во всем мире в ее времена. Это относится и ко всем ее сподвижникам.

Величайший русский полководец того времени А. В. Суворов всю свою жизнь участвовал исключительно в наступательных походах, всегда воевал на вражеской территории, и советская общественность права, когда считает его гордостью России и справедливо украшает грудь наиболее отличившихся героев Великой Отечественной войны орденом Суворова.

Русская дипломатия времен Екатерины лучше всего может быть нами понята, если мы будем ее рассматривать, прежде всего, с точки зрения целесообразности или нецелесообразности ее действий, успешности или неуспешности их в деле осуществления тех политических задач, которые она себе ставила. Совсем не к чему ни чернить сверх всякой меры тогдашнюю русскую дипломатию за ее якобы исключительное коварство, ни хвалить ее и превозносить выше облака ходячего за ее будто бы моральную безукоризненность. «Мораль» ее была общепринятой тогда моралью, не хуже и не лучше, и сердиться на Екатерину (как на нее до сих пор сердятся часть западноевропейской историографии) за то, что ей удавалось почти всегда с необычайной ловкостью побеждать даже наиболее искусственных партнеров в дипломатической игре, негодовать на нее за то, что она перехитрила и Иосифа II австрийского, и Фридриха-Вильгельма II прусского, и Вильяма Питта английского, и Густава III шведского, и обоих французских Людовиков — как пятнадцатого, так и шестнадцатого, с обоими их министрами, сначала Шуазелем, а потом Верженном, и султана Мустафу, и султана Селима со всеми визирями и рейс-эфендиями, или возмущаться тем, что ей удалось все ее предприятия, — по меньшей мере наивно. Это несколько похоже на то, что французский фашист и антисоветский агитатор, «историк» Луи Мадлен в своих комментариях к изданной в 1936 году новооткрытой переписке Наполеона I с Марией-Луизой самым искренним образом возмущалась бесчестностью Кутузова в том, что он не пожелал после Бородина признать себя побежденным и бесцеремонно позволил себе против всяких ожиданий продолжать войну и даже выиграть ее!

Дипломатия Екатерины, победы ее полководцев в солдат, общие поразительные успехи ее внешней политики,

особенно ярко оттеняемые крайне посредственными достижениями (а часто и полным отсутствием положительных достижений) в области политики внутренней, все это приводило некоторых наблюдателей к мысли, что русский народ все же предназначен в будущем к чему-то великому, и что наличие огромной силы, могучих возможностей в нем — неоспоримы.

«Судьба еще отдаляет время вступить России на степень величия, соразмерную ее могуществу», — писал П. В. Завадовский в раэгаре второй турецкой войны, 1 июня 1789 года, когда позади было взятие Очакова, а впереди — штурм Измаила, когда в прошлом России был Петр I со своей Полтавой, а в настоящем Екатерина II с Румянцевым, Суворовым, Ушаковым, с Чесмой, Ларгой, Фокшанами, Кагулом.

Поэтому не удивительно, что советскому историку, писавшему во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., неоднократно припомнились эти смутные предчувствия людей XVIII века.

2

И в России и в Европе, и при жизни Екатерины II и долго после ее смерти время ее правления расценивалось именно в области внешней политики как период, полный блестящих успехов и громкой русской славы. Это всегда признавали и те, кто несколько не закрывал глаза ни на крепостное рабство, в котором томился миллионы русских людей, ни на бесчисленные отрицательные стороны административных и судебных порядков, ни на разгул произвола, хищений и казнокрадства при дворе и на верхах правительственного аппарата, ни на личные очень темные деяния самой императрицы, лежащие неизгладимым пятном на ее историческом имени.

Но слава побед и внешних успехов ее времени оставалась непоколебимой. Правда, в оценках славы мы теперь стали разборчивы и имеем все права проявлять разборчивость. Наши сталинские времена видели и другую русскую славу, когда от русских побед зависела не только судьба России, а судьба всего культурного человечества, все будущее всемирной цивилизации. Советская эпоха явилась временем, когда русскому могуществу пришлось отправлять в Европе функцию не «жандармскую», как бывало так часто при монархии, а освободительную, служить не реакции, а мировому прогрессу.

Красная Армия одержала победы, которые затмили и по грандиозному размаху и по неизмеримому всемирно-историческому смыслу все, что видела не только русская, но и мировая история. И Великая Отечественная война Советского Союза с гитлеровской Германией, в которой победил наш советский народ, наше социалистическое государство под руководством товарища Сталина, ленинско-сталинской партии, велась не только затем, чтобы добраться до той вершины славы, на какой так естественно оказалась теперь Россия: эта навязанная народам Союза война явилась справедливнейшей, законнейшей из всех возможных войн, обороной народов Совет-

ского Союза от подлейшего и опаснейшего врага, который хвалился перед всем миром тем, что он уничтожит советское социалистическое государство, истребит треть русского народа, а две трети обратит в рабство и что «вся территория от Немана до Тихого океана навсегда будет жизненным пространством для немцев»: «ein Lebensraum für Deutschland!».

Но, сравнивая любое время русской истории, любые внешнеполитические успехи, любые победы, любые бывшие достижения на войне и в дипломатии с нынешними совсем неслыханными деланиями, нет никакой нужды принижать прошлое и затруднять этим для себя историческое понимание бывших времен.

9 мая 1945 года за все одинадцать столетий истории России случилось лишь один раз...

Та вершина славы и могущества, на которой сейчас высится наша родина, спасшая все человечество от гнуснейшего рабства, достигалась огромными жертвами, неслыханными усилиями, и народы Союза проявили на наших глазах ту степень массового, коллективного героизма, которая изумила весь свет. Но русский народ и всем своим прошлым уже обещал и предвещал многое. «Изучайте русскую историю, поверьте, что это очень полезное занятие!» — с беспокойством предостерегал своих соотечественников покойный немецкий публицист Максимилиан Гарден, хорошо зная, что быстрые успехи гитлеровской пропаганды объясняются именно больше всего посулами о будущем немецком завоевании Украины, Донбасса, Крыма, Кавказа. Гитлеровцы тогда еще не были формально у власти. Поэтому они не казнили Гардена официально, а забили его до полусмерти железными паками, напав исподтишка. Он очень скоро после этого умер. Но совет его изучать русскую историю, вероятно, разгромленная Германия вспомнит, сидя пригорюнившись у разбитого корыта.

3

Весьма понятно, что в наши дни так сильно оживляется интерес к внешней политике, к дипломатии и в войнам русского народа. В советской общественности вырос и углубился интерес к истории политического и территориального роста великого русского государства.

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. привела ко включению в состав русского государства Белоруссии, Украины, Литвы, Курляндии (нынешней Латвии), Крыма, Таманского полуострова, земель между Днестром и Бугом, нижнего Приднпровья, к основанию портов Севастополя, Одессы, Херсона, Николаева, к завоеванию Очакова, к присоединению и освоению беспредельных плодороднейших степей Новороссии вплоть до Черноморья, к занятию Кубани, Большой и Малой Кабарды, к созданию Мовдокской линии, к установлению протектората над Имеретией, а также Кахетией и Карталинией (то есть Грузией) по собственному желанию правителей и народов этих стран, искавших защиты от турок и персов, причем этот протекторат уже при императрице подарил России герой Багратиона. Русские эскадры спокойно прошли из Балтийского моря, от Кронштадта в Архипелаг и здесь совершенно разгромили

сильный турецкий флот при Чесме. Русские армии одерживали блестящие победы, в русскую военную историю были занесены Ларга, Кагул, Фокшаны, Рымник, Измаил, штурм Праги, морские победы при Чесме и на Черном море, были вписаны имена Румянцева, Суворова, Ушакова, при Екатерине же успешно прославились Кутузов и Багратион, ученики Суворова.

Мудрено ли, что советский гражданин вправе требовать от историков, чтобы ему было рассказано о внешней политике этого периода, которая привела к таким огромным результатам, так колоссально увеличила размеры России, так ее материально обогатила и в такой степени повысила военный потенциал русского народа и его обороноспособность. Конечно, ни на минуту нельзя забыть тот исторический факт, что только советская власть оказалась способной полностью использовать и этот, позже возросший военный потенциал, реализовать и усилить его с такими неслыханными результатами в наши времена.

4

Екатерина не любила Суворова. От Александра Васильевича Суворова можно было ждать всякой внезапной выходки, иногда остроумной, но всегда почти дерзкой или во всяком случае не укладывающейся в общепринятые придворные и великосветские рамки. Пренебрежение гения к обыкновенным людям, ироническое отношение фельдмаршала, жившего солдатской жизнью, к изнеженным сибаритам самого роскошного двора на свете, превращение самоотверженного героя к тем, кто никогда не нюхал пороха, — все это Суворовым скрывалось весьма мало. Его в Петербурге и в Царском Селе не любили, перед ним терялись, иногда смущались и робели. А Екатерина Алексеевна не привыкла ни смущаться, ни робеть. Поэтому она торопилась, осыпав его самыми высшими почестями, поласковее, но и поскорее сбрызнуть с рук. Она знала, что он решительно неукротим и не боится абсолютно ничего, даже военного суда, который несколько раз ему грозил вполне, с юридической точки зрения, правильно. И при этом государыня знала еще более определенно, что никакой военный суд над ним совсем невозможен и что сама же она именно по поводу вопроса об отдаче Суворова под суд заявила: «Победителя не судят». Она знала, что Суворов стоит на такой гигантской высоте, что его славе даже и завидовать как-то трудно. Потемкин, безмерно самолюбивый человек, «сатанинский гордый», как о нем отзывались, обращается к Суворову с мольбой взять Измаил со словами, которые передавались в разной редакции, но всегда с одинаковым смыслом: «Если вы не возьмете Измаил, то никто его не возьмет».

Полны необычайного политического и психологического интереса отношения между Екатериной и Суворовым. Это были очень разные индивидуальности — личных симпатий между ними не было и быть не могло. Но обе они крепко нуждались друг в друге по их общей исторической службе тому делу, в котором оба видели и свое личное дело: в служении интересам и славе России, как они эти интересы и славу понимали. Наиболее любопытным в этом смысле

не позднейшие годы суворовской военной карьеры, а именно первый ее период, когда он еще не имел позднейшего опыта, но рыскавал, полагаясь на инстинкт, чувствуя всем нутром своим, что Екатерина простит ему то, чего ни за что не простила бы никому другому. Поясним это на конкретном примере.

Вот идет тяжелая война одновременно на двух фронтах — против Турции и против Польши. Подчиненный Веймарну генерал-майор Суворов стоит в 1771 году в Люблине, ему строго приказано оставаться там. Но Суворов узнает, что польские конфедераты идут к Кракову, чтобы отнять его у приверженцев короля Станислава Понятовского. Недаго думая, Суворов выступает из Люблина, бьет один за другим отдельные польские отряды, берет Ландскрону и продолжает быстро идти к Кракову. После ряда крупных и мелких стычек он отбрасывает конфедератов за Вислу и, обеспечив на время Краков, возвращается в Люблин. Но у польских конфедератов есть большая подмога: дерзкий, энергичный, талантливый генерал Дюмурье, присланный им на помощь из Франции. Суворову есть с кем померяться. Он снова выступает к Кракову, стремительно нападает на конфедератов и в битве под Ландскроной разбивает поляков на голову. Дюмурье спасся с небольшим своим французским кавалерийским конвоем. Оба польских начальника — храбрые Сапега и Оржевский — были заколоты своими собственными солдатами, в панике разбежавшимися от казацкого натиска. Дело было 10 мая 1771 года. Затем Суворов бросился на отряд Пулавского и не дал ему войти в Литву, и разбитый отряд должен был спасаться у венгерских границ.

Дюмурье и Пулавский, разбитые Суворовым, были двумя настоящими военными людьми, которые все же делали кое-что, несмотря на безобразное отсутствие всякой дисциплины среди конфедератов, несмотря на беспорядное пьянство и бездельничанье офицеров, несмотря на распущенность и отсутствие выдержки и выучки среди солдат. Казалось, что Суворов, может, наконец, вернуться в Люблин и надолго остаться там. Но обстоятельства сложились по-иному. Огинский, предводитель королевских войск, внезапно перешел со всей своей армией на сторону враждебной королю и Екатерине конфедерации. 9 сентября он разбил русский отряд Албычева и одержал еще несколько побед. Генерал-лейтенант Веймарн, зная нрав Суворова, который уже несколько раз без разрешения покидал Люблин и бросался на неприятеля, решительно воспретил ему на этот раз уходить из города. Он уже давно раздражался этими самопроизвольными действиями Суворова, и даже постоянные блестящие успехи последнего в борьбе с конфедератами не очень смягчали раздражение главного начальника. Веймарн снова приказал Суворову стоять в Люблине, чтобы мешать соединению южных отрядов поляков с северными.

Между тем, Огинский шел от успеха к успеху, тесня русских к Литве. Ему удалось собрать около себя значительные силы, удалось отчасти и то, что не удавалось ни Дюмурье, ни Пулавскому: создать из своевольной орды более

или менее дисциплинированное войско. Сражались солдаты Огинского очень храбро.

И вот Суворов решается на отчаянное дело. Если прежние его самовольные отлучки с войском из Люблина сходились ему с рук и дело ограничивалось выражением неудовольствия со стороны Веймарна, то теперь вопрос шел уже о прямом, открытом неповиновении, да еще об очень рискованном предприятии. Суворов решился... «Спасем сперва наших, а потом уж пусть вина падает на мою голову», — сказал он, выходя из Люблина.¹ У него было всего около одной тысячи человек. Событий своей быстротой он бросился наперез Огинскому, спешившему в Литву, и опередил его. Уже находясь в пути, Суворов послал своему начальнику известие о своем поступке в таких выражениях: «Выстрел раздавался — Суворов выступил в поход». В глухую ночь 12 сентября Суворов внезапно напал на спавших глубоким сном поляков в Столовичах, разгромил их, бросился затем утром на отряд Огинского, расположенный лагерем за городом Столовичами, разбил Огинского на голову, захватил знамена, двенадцать орудий и всю казну отряда (50.000 червонцев золотом). «Хорошо исполненное ночное нападение всегда удается!» — сказал Суворов об этом сражении.

Но генерал Веймарн был вне себя от гнева и на этот раз решил окончательно предать Суворова военному суду за грубейшее нарушение дисциплины и сознательное ослушание.

И вот тут-то впервые Екатерина решила, что военный суд существует для кого угодно, для всей армии, но не для Суворова. Тут она впервые применила к Суворову слова, которые ей не раз пришлось вспоминать и впоследствии: «Победителя не судят!» Она велела послать Суворову орден Александра Невского. Генерал Веймарн вскоре был смещен. Ясно было, что после такого афронта ему уже никак нельзя было с Суворовым служить. Простор для гения, ценить гения не только тогда, когда он царедворчески льстит, вроде Вольтера, но и тогда, когда неудобен и невозможен при личном общении, как Суворов, — таков был лозунг императрицы. Чтобы использовать Суворова в максимальной степени, нужно было дать ему возможность ни с чем, кроме его собственной воли, не считаться. Екатерина опасалась дать ему верховное командование, потому что все-таки слишком он был своенравен и неожидан в поступках, слишком «скоропостижен», как выражались в XVIII веке. В те времена, при тогдашних условиях путей сообщения и связи верховному главнокомандующему сплось и рядом приходилось, не справляясь с Петербургом, предпринимать очень важные и далеко идущие политические решения, и поручать такие функции стремительно огненному Суворову императрица не решалась. Для этого у нее были Потемкин и Румянцев. Но что Суворов в сложнейшей сети и запутанной машине войны всегда разглядит, где слабое место у неприятеля и когда нужно уда-

рить, что именно Суворов, и никто другой, так быстро и безошибочно, как он, не сообразит, где русские ждет победы торжество, — это Екатерина знала твердо. Да, он нарушил дисциплину самым явным образом, но кто же другой, кроме Суворова, мог поколотить с Огинским одним молниеносным ударом? Кто другой мог заставить Огинского бежать в Кенигсберг и писать оттуда в Польшу: «Вам уже известен, конечно, слух, облетевший всю страну, о моем злополучии... Едва я имел время сесть на лошадь и поскочить, чтобы собрать войска к битве, как увидел, к величайшему моему удивлению, мою пехоту, бежавшую без оружия, и большую часть кавалерии, блуждавшей по болоту. Мой голос и все заклятия были бесполезны. Ужас овладел моими солдатами до того, что было невозможно собрать ни одного эскадрона, тогда как неприятель занял уже деревню и овладел моей артиллерией. Я потерял все — деньги, обоз, бумаги...»

Конечно, не Екатерине писал эти строки несчастный Огинский, но Екатерина знала в точности все размеры и учитывала все политическое значение суворовской победы.

Характерное расхождение в настроениях между Екатериной и Суворовым обнаружилось и в конечном фазисе польской трагедии, после штурма Праги.

Некоторые польские публицисты и позднейшие историки усматривали какое-то непонятное противоречие, сопоставляя кровавый штурм Праги варшавской с мягкостью всей политики Суворова уже в качестве военного полномочного правителя покоренной им польской столицы.

В «усмирители» Суворов никогда не годился. Военный вождь, полководец с ног до головы, он жадно искал всегда умственным взором: где вооруженный враг?

Но, например, когда Измаил был взят, турки потеряли для Суворова значительную часть своего интереса. Когда варшавская Прага была взята блестящим штурмом, и Варшава «легла к ногам Екатерины», и поляки, и Варшава, и польский вопрос перестали казаться Суворову достойными того захватывающего интереса, который они в нем возбуждали, пока держались на ногах. И им овладела жалость, которой он не ведал, пока шел бой. Его мягкое отношение к побежденным, рыцарское нежелание обидеть обезоруженного врага, совсем неожиданный «либерализм» в лучшем значении слова, который он проявлял в Варшаве к побежденным, — кое-кого раздражали в Петербурге, казались странными и неуместными. И Екатерина тоже была не очень довольна этим поведением великого фельдмаршала, но она с победителем, как всегда, очень считалась.

Он объявил, например, амнистию и очень широкою. «Все чувствуют ошибку графа Суворова, что он с Варшавы не взял большой контрибуции, но не хотят его в том исправить из смеха достойного уважения к тем обещаниям, какие он дал беспредельно и самым злейшим полякам о забвении всего прошедшего и о неприкосновенности ни к их лицам, ни к их именам», — так полагал Трошинский и многие другие.

Но Суворов вовсе не считал, что великодушие к врагу «смеха достойно» и

свои «беспредельные» обещания решил поддержать. А Екатерина понимала тоже, что мешаться в суворовские дела сейчас не следует, даже если пускаются слухи, будто «в Варшаве все готово опять вспыхнуть»: «Никто противу сего зла не берет мер», — жалуетя Трошинский Александру Воронцову: «даже сердится, что князь Репнин из осторожности дал о том несколько почувствовать, и почитают сие излишней трусостью. Суворов же сделал в Варшаве комендантом или своим дежурным того самого генерала, который и в Вильне, будучи начальником над войсками, взят поляками под арест».

Суворов, абсолютно ни на кого не обращая внимания, продолжал свою политику: пока враг сопротивляется — бей без пощады; когда смирился — он уже тебе не враг. «Правду сказать, граф Суворов великие оказал услуги взятием Варшавы и истреблением всего мятежнического ополчения, но зато уже несносно досаждают несообразными своими там распоряжениями. Всех генерально поляков, не исключая и главных бунтовщиков, которые, имея владения в новых наших губерниях, присягали на верность и потом, наруша клятву, действовали повсеместно злодейски противу нас, отпускает свободно в их дома, давая открытые листы, в которых именем государыни обещает неприкосновенность к их особам и имениям генеральную дарует амнистию...». Тут уж Екатерина решила вмешаться, и Суворов с большим удовольствием покинул Варшаву.

Суворова она никогда не любила, и он платил ей взаимностью, и она знала это, но, дорожа талантливыми людьми, она еще несравненно больше дорожила ими, если они были непосредственно ей нужны. А кто же был ей нужнее Суворова? И она пытается взять его тем, что на Александра Васильевича действовало неотразимо, когда «низлетало» с такой вершины, — тонкой лестью. Екатерина не просто производит его в фельдмаршалы после взятия Варшавы, но пишет при этом ему, что хотя она, как он знает, никогда не дает чинов вне очереди, но «вы сами произвели себя в фельдмаршалы». Императрица знала так же хорошо, как сам Суворов, во-первых, что она вовсе не хотела пускать его в 1794 году в Польшу, надеясь обойтись на этот раз без него: во-вторых, что Румянцев, который видел, что его генералы все не могут окончить затянувшуюся польскую войну, как-то схитрил и вызвал сам Суворова из Херсона; в-третьих, что Суворов давно считает себя обиженным, не получив фельдмаршальского жезла на другой же день после Измаила; в-четвертых, что он уже многократно по всякому поводу и без всякого повода говорил в глаза и за глаза дерзости ее фаворитам, хвалясь тем, что он свою дорогу пробивает себе сам, ни на какие милости и ни на какое благоволение государыни не рассчитывая. И зная все это, она именно как бы хотела сказать Суворову: да, не я оказываю тебе военную почесть, а ты сам вырвал у меня из рук фельдмаршальский жезл, когда я еще колебалась, дать ли тебе его, ты получил этот жезл не от Екатерины, а от самого великого Суворова. Ничего более лестного, более приятного Суворову она не могла в тот момент ни сказать, ни сделать.

¹ Подковник А. Петров. Война России с Турцией и польскими конфедератами, т. III, стр. 250.

„НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ“

Проф. В. Спиридонов

Бесчисленные аресты, ссылки и казни в годы жестокой реакции после 1905 г. потрясли Толстого. Особенно тягостное впечатление произвело на него газетное сообщение о повешении в Херсоне двадцати крестьян. В день получения этого сообщения он был в самом подавленном состоянии. Н. Н. Гусев говорит, что он никогда еще не видел Льва Николаевича «таким добрым, кротким, участливым, смиренным. Видно, что ему хотелось умереть»¹. Лев Николаевич плакал. В тот же день он продиктовал в фонограф: «Нет, это невозможно! Нельзя так жить!.. Нельзя и нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, столько казней: нынче пять, завтра семь, нынче двадцать мужиков повешено, двадцать смертей... А в Думе продолжаются разговоры о Финляндии, о приезде короля, и всем кажется, что это так и должно быть...»

Душевное волнение Льва Николаевича было так сильно, что он на этом оборвал свою речь. Под 12 мая он занес в свой дневник: «Вчера мне было особенно мучительно тяжело от известия о двадцати повешенных крестьянах. Я начал диктовать в фонограф, но не мог продолжать».²

13 мая Лев Николаевич взялся за перо и своим размашистым почерком написал свое знаменитое «Не могу молчать», в первых строках которого мы читаем:

«Нынче в газете стоят короткие слова: исполнен в Херсоне смертный приговор через повешение над двадцатью крестьянами, т. е. 20, двадцать человек из тех самых, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы развращаем всеми силами, начиная с яда воды, которой мы спаваем их, и кончая солдатством, нашими скверными установлениями, называемыми нами законами, и главное — нашей ужасной ложью той веры, в которую мы не верим, но которой стараемся обманывать их, 20 человек из этих самых людей, тех единственных в России, на простоте, доброте, трудолюбии которых держится русская жизнь, этих людей, мужей, отцов, сыновей, таких же, как они, мы одеваем в саваны, надеваем на них колпаки и под охраной из них же взятых обманутых солдат мы взводим на возвышение под виселицу, надеваем по очереди на них петли, выталкиваем из-под ног скамейки, и они один за другим затягивают своей тяжестью на шею петли, задыхаются, корчатся и, за три минуты полные жизни, данной им богом, застывают в мертвой неподвижности, и доктор ходит и щупает им ноги — холодны ли они.

И это делается не над одним, не нечаянно, не над каким-нибудь извергом, а над двадцатью обманутыми мужиками, кормильцами нашими. А те, кто главные виновники и попустители этих ужасных преступлений всех законов божеских и человеческих — г-н Столыпин говорит бесчеловечные, глупые,

чтоб не сказать отвратительные, спокойные речи, старательно придуманные глупости о Финляндии, и в Думе г-да Гучковы и Милоуковы вызывают друг друга на дуэль, и самый глупый и бесчеловечный из всех г-н Романов, называемый Николаем Второй, смотрит казачью сотню и за что-то благодарит.

Ведь это ужасно. Нельзя и нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не хочу и не буду. Затем и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы или кончились эти ужасные не человеческие дела или... надела бы на меня, на 21-го или 21000 первого, саван, колпак и также столкнулся с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горе петлю».³

13 мая Лев Николаевич сделал только первый набросок статьи, который он подверг затем бесчисленным коренным переработкам. Работа продолжалась двадцать два дня. В результате — получилась рукопись, занявшая около трехсот листов. В ней шесть законченных и восемь неполных редакций статьи. Больше всего труда Лев Николаевич положил на переработку первой главы, где дана картина повешения крестьян, и четвертой главы, где идет речь о борьбе правительства с революционерами. Мы печатаем ниже впервые почти полностью первую половину первой главы из пятой редакции и полностью вторую половину той же главы из шестой редакции статьи.

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ПЕРВОЙ ГЛАВЫ ИЗ ПЯТОЙ РЕДАКЦИИ)

Двадцать мужей, отцов, сыновей тех людей, на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьму, заковали в цепи, притащали к помосту виселиц и поставили их рядом перед генералами, прокурорами и человеком с длинными волосами и в парчевой ризе и с крестом в руках. На помосте хлопот несчастливого палача, соображая практические подробности предстоящего ему сложного дела. Более сотни таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только одетые в хорошие, чистые солдатские с погонами мундиры, с перекинутыми через плечи свернутыми шинелями и с ружьями в руках, с ужасом глядя на то, что делается, стоят вокруг помоста. Главный начальник с крестом на шее говорит что-то. Говорит что-то о Христе и боге и человек с крестом и в парчевой ризе. И как только он кончил говорить, озабоченный, мрачный палач надевает на первого с края крестьянина саван и колпак и взводит его на помост. Там, озабоченно вскидывая глазами на блок, на веревку, на скамейку — все ли как должно — накладывает на шею тихо бормочащего

молитвы и крестящегося, сколько может, скованной правой рабочей рукой взведенного, накладывает ему двумя руками сверху колпака, сколько нужно, расправленную петлю и под локти вводит его на скамейку. И только что тот стал на нее, ловким движением выбивает скамейку из-под ног и сталкивает его с помоста, и тело, затягивая своей тяжестью веревку на шею, слегка покачиваясь, повисает в пустом месте перед помостом. И палач удовлетворен успехом дела и берется за другого. То же делается с другим, третьим, четвертым... десятком... пятнадцатым... и, наконец, двадцатым. Начальство присутствует. И когда тела уже замерли в неподвижности, и служащий врач, обходя их, по очереди ощупал их ноги и доложил начальству, что дело совершено, как должно — люди лишены жизни, все эти люди удаляются к своим обычным занятиям с сознанием добросовестно исполненного, хотя и неприятного, но необходимого дела. Застывшие тела снимают и зарывают.

Ведь это ужасно! И это делается не над одним, не нечаянно, не над каким-нибудь извергом, а над двадцатью, над двадцатью лучшими людьми русского народа, над двадцатью крестьянами.

Кто же, кто главный виновник этого ужасного дела, не в том смысле виновник, чтобы упрекать, наказывать его за эти дела, а в том смысле, чтобы указать ему его грех, чтобы он перестал делать его? Кто главный виновник?..

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ПЕРВОЙ ГЛАВЫ ИЗ ШЕСТОЙ РЕДАКЦИИ)

Не несчастный же каторжник-палач, которому угрожало и угрожает то же самое. Откажись он делать это дело, его сошлют на каторгу, где будут сесть и всячески мучать. Не солдаты же, соблюдавшие порядок при совершении дела и с своими ружьями готовые застрелить всех тех, кто вздумал бы противиться тому, что делалось. Не они же виновники дела: не говоря о том, что они так обмануты, что и не понимают большей частью того, что делают, всякий отказ их от исполнения приказаний начальства наказывается всякими мучительствами. Но все-таки солдаты уже чувствуют в глубине души свою виновность, и есть случаи отказов от службы. Секретари, прокуроры, судьи, которые, подогнав поступок этих мужиков к таким и таким статьям «закона», объявляли, что люди эти по этому закону подлежат тому, что написано в таких-то и таких-то статьях, уже более виноваты и могли бы понять свою вину, они и чувствуют ее, но не могут, не хотят отказаться от своего положения судейских, которого они добивались годами и которое дает им почет среди людей, а главное — средства жизни с семьями их. Не могут не чувствовать и самые высшие чины — министры — и сам царь просто жестокости и отвратительности этих дел, но они не хотят отказаться от тех положений, которые они занимают. Они успокаивают себя тем, что не считают себя

¹ Н. Н. Гусев. «Два года с Л. Н. Толстым». М. 1928. Стр. 156.

² Архив Государственного Толстовского музея в Москве.

³ Архив Государственного Толстовского музея в Москве. Первый набросок «Не могу молчать» вышел отдельной брошюрой под ред. В. И. Срезневского в 1917 г. в Петрограде.

прямыми, непосредственными участниками дела: они ведь только составляли или одобряли те «законы», по которым это делается. Так что все эти люди так удивительно связаны между собой, что чем прямее участие человека в преступлении, каково участие палача, тем больше та свала принуждения, которая заставляет его совершать дело, и тем меньше возможности сознания своей виновности. И, напротив, чем меньше прямое участие и чем меньше принуждения, тем незаметнее это участие и тем естественнее сознание своей виновности. И вот люди совершают эти ужасные дела, и никто не чувствует себя виноватым. Не чувствует себя виноватым

палач и, убив двадцать человек, идет с спокойным духом полудновать с чаркой водки. И так же мало чувствует себя виновным министр, по распоряжению которого совершаются эти дела. И еще меньше считает себя виновным глава государства, предоставляющий эти дела им, как ему кажется, естественному, «законному» течению. Людей вешают, мучают, убивают тысячами, и люди, совершающие эти дела, чувствуют себя совершенно свободными от укоров совести. В то самое время, как людей одевают в саваны и стаскивают с помоста, чтобы они затаили себе на шею веревки, один из тех, кто мог бы остановить эти злодеяния, с спокойной совестью и

с уверенностью в важности провозглашаемых им пошлостей толкует в Думе. . . Другой же, находящийся в том положении, что он мог бы избавить одних людей от смерти, а других от преступления, смотрит какую-нибудь кучку наряженных в разные мундиры людей и все одними и теми же никому ненужными словами говорит этим людям, что он глубоко тронут и благодарен за какую-то преданность какому-то престолу и отечеству и на что-то надеется именно от этих представляющихся ему наряженных людей.

А людей продолжают убивать и вешать. Да, положение это ужасно.

ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ ПЕТРА I

На зеленом островке, «в саду между каналов», — как называли Летний сад после прорытия Лебяжьей канавки, — 18 августа 1710 года началась постройка летнего Петрова дворца.

Летний дворец Петра скромен и прост. Ближайший архитектор Петра Доменико Трезини построил его двухэтажным, в стиле раннего барокко. Доканчивал отделку талантливый архитектор и скульптор Шюаутер. Вдоль окон терракотовые, подкрашенные охрой барельефы на сюжеты греческой мифологии, аллегорически изображающие морские силы России в войну со шведами. В чудесном лепном барельефе над входом Россия-победительница в виде женщины в шлеме и военных доспехах. На острие кровли золоченый всадник-флюгер, изображающий Георгия Победоносца.

Петр любил свой дворец. С первым теплом переезжал в него и жил до глубокой осени, — стены всего в полтора кирпича, нет зимних рам, вторых дверей.

В уютных многооконных комнатах Летнего дворца Петр искал уединения и тишины. Об этом говорят и воспоминания современников и старинные описания Петербурга. В одном из таких описаний 1794 года о Летнем дворце Петра сказано: «Комнаты в оном не столь великолепны и не в столь новом вкусе, как в прочих дворцах, что судя по сему и по положению оного можно бы почесть сей дворец за род некоего уединения».

Десятки посетителей — студентов, рабочих, школьников ожидают впуска в Летний дворец Петра на широких, усыпанных желтым песком аллеях. Девушки в светлых платьях стоят перед статуей «Закат» — молодежь любит вглядываться в седину старости.

Одна из девушек, с длинными русыми косами, закрывая альбом, задумчиво говорит:

— И Шевченко когда-то прибегал сюда рисовать. . .

Другая отвечает ей в тон:

— И Пушкин писал здесь стихи. . .

Старинная мелодия звенит из окон второго этажа, извещая об открытии дворца-музея.

Обаяние русской старины охватывает каждого переступающего порог дворца.

Многое запоминается сразу и прочно.

А. Лаврентьева-Кривошеева

Резной барельеф Минервы в нижнем вестибюле — римской богини войны, мудрости и торговли; большие живописные плафоны на потолках: «Триумф России» — в ассамблейной; Марс, римский бог войны, — в кабинете Петра; греческий бог сновидений Морфей с маками в руках и фигура Сновиденья, высыпавшая звезды и кораллы, — в спальне. В кабинете подзорная труба для изучения звездного неба, собственноручный чертеж плана крепости на Донце характеризуют разнообразие интересов Петра. В токарной мастерской часы, барометр и указатель ветров занимают целую стену. Бронзовая стрелка указателя ветров с помощью колес соединена с выходящим на крышу стержнем, на котором держится золоченый всадник. Все приборы, как и при Петре, работают с предельной точностью. По ним узнавал Петр время, ветер, ближайшую погоду. В небольшой семейной столовой старинная обстановка, в витрине вилки и ножи, которые при Петре стали входить в употребление. Рядом со столовой кухня, облицованная яркими синими изразцами, чугунная плита с навесом,

Крутая дубовая лестница с баллюстрадой, украшенной резьбой французских резчиков Пино и Мишеля, ведет в верхние комнаты дворца.

Петр не любил приемов. Но, побывав в 1717 году в Париже и Версале, ввел при дворе церемониал, принятый при западноевропейских дворах. Тогда-то скромный дом Петра и превратился во дворец. Приемы устраивала Екатерина.

На потолке Тронного зала торжественный плафон «Триумф царицы» — Минерва в колеснице, запряженной двумя орлами. Зеркала в золоченых рамах. В углу на столе гипсовая посмертная маска, снятая с лица Петра скульптором Растрелли. В этом зале находился трон — золоченое кресло под балдахин.

Через гардеробную, спальню, детскую, танцевальную, в которых сохранились старинные изразцовые печи, двери из ореха и дуба с медными замками в три затвора, попадаем в зеленый кабинет Екатерины, служивший и парадной столовой. Здесь полностью уцелела отделка времен Петра. На потолке плафон алле-

горического содержания, прославляющий русские дела, стены, обшитые деревом, окрашенные в темнозеленый цвет, с росписью Пильмана. В овальных медальонах между окнами изображены четыре страны света — Европа, Азия, Америка и Африка. Сохранилась большая редкость — музыкальные английские часы фирмы Торнтон, отделанные зеркальными стеклами. Часы исполняют двенадцать пьес. Каждый час звонят из окон дворца старинная музыка. Над циферблатом выгравирован портрет Петра.

В верхних комнатах дворца еще уютнее. К окнам тянутся зеленые ветви, в просветы видна голубая Нева, Фонтанка, Петропавловская крепость. . .

Мертво и холодно было в Летнем саду в блокадные зимы. Бесчисленные бомбы с воем падали на старинные деревья. Окна нижнего этажа Петрова дворца были укрыты большими железными щитами, подпертыми колыями. Все, что можно было укрыть от нападения врага, было вывезено в специальные хранилища. В пустых, обледенелых комнатах свистел ветер. На наружных трезиниевских стенах — следы вражеских снарядов. Зажигательная бомба испортила крытую белым железом кровлю.

Покой мира снова вошел в наш город. Снова можно наслаждаться благоуханием и тишиной Летнего сада. В этом году как-то особенно пышно цвели здесь липы. Встали по аллеям среди зелени покинувшие свои временные укрытия мраморные статуи.

Под руководством архитектора Веселовского во дворце начались восстановительные работы. Даже после наводнения 1824 года ремонт дворца не достигал таких размеров. Чинятся петровского времени рамы, двери, панели, механизмы токарных станков, часов. Художники-реставраторы Эрмитажа восстанавливают плафоны. Прилежные ленинградские руки бережно размещают все, что вместе с архитектурой составляет уникальную ценность этого единственно уцелевшего в СССР Петрова дворца. Когда распахнутся входные двери, перед посетителями дворца-музея вновь встанет легендарный образ великого преобразователя, с любовью и прозорливостью вглядывавшегося в прекрасное будущее России.

ИСКУССТВО Н. П. ХМЕЛЕВА

Л. Малюгин

Хмелев умер внезапно. Смерть настгла его в часы творчества. Он умер на генеральной репетиции пьесы Алексея Толстого «Трудные годы», в костюме и гриме Ивана Грозного. В смерти этой, глубоко опечалившей работников советского театра и всех его зрителей, было что-то величественное и прекрасное — именно так уходят великие художники, отдавая искусство жизнь свою до последнего дыхания.

Хмелев прожил всего 44 года. Но в искусстве он прожил жизнь большую, содержательную и разнообразную. Жизнь эта целиком связана с Художественным театром.

В девятнадцатом году в Художественный театр, в театр мировой славы, пришел юноша, выросший в рабочей семье в Сормове, городе, который меньше всего мог похвастаться своей театральной культурой. Но у молодого человека так велико было увлечение искусством, так величественны были задачи, которые он себе поставил, и так упорен он был в достижении своих высоких целей, что Хмелев скоро становится одним из самых активных сотрудников Художественного театра. В 1924 году 23-летний артист выступает в одной из труднейших горьковских ролей — хозяина ночлежки Костылева из пьесы «На дне». В этом же сезоне Хмелев исполняет одну за другой девять ролей. А двумя годами позже он играет Алексея Турбина. К Хмелеву приходит слава с тем, чтобы никогда не расставаться с ним.

Среди трех десятков образов, которые воплотил артист на сцене Художественного театра, были великолепные, были интересные, но не было ни одного неудачного. Однако творческий путь артиста не был легким. Хмелев меньше всего походил на бабовня судьбы, артиста, которому многое отпущено природой и поэтому все дается легко. У него не было того, что называют первичным сценическим обаянием — бархатного голоса, широкой улыбки, могучего роста, тех ценных даров природы, которые сразу располагают зрителя к артисту. У Хмелева было своеобразное, несколько скуластое лицо, скрипучий голос и совсем неактерская внешность — он выходил на сцену как-то незаметно. Но он очень скоро завоевывал даже нерасположенных к нему зрителей.

Хмелев обладал огромным талантом, его игра всегда была большим наслаждением для зрителей. Но только люди, работавшие с ним, знают, какой дорогой ценой, после каких долгих и мучительных поисков приходили эти великолепные актерские победы.

У Хмелева была радостная актерская судьба. Его сразу признали и учителя, и товарищи, и зрители. Такое счастье редко выпадает на долю артиста. Но Хмелев был сам кузнецом своего счастья. Он никогда не удовлетворялся найденным. Он всегда начинал сначала. И поэтому мы с таким интересом шли смотреть каждую работу Хмелева. Мы знали, что нас ждут новые открытия.

Мы привыкли делить артистов на две группы. Одни — это артисты-трансформаторы, они так растворяются в образе,

что мы забываем об их актерской индивидуальности. Другие — это актеры своей темы, они всю жизнь играют один образ. Хмелев не вмещался в границы ни одной из этих групп.

Он играет простодушного, чистого душой царя Федора и одряхлевшего Фирса. Он перевоплощается в петербург-



ского сановника Кареннина, и на следующий день мы видим его в образе кулака Сторожева. Примерно в одно время Хмелев играет офицера старой армии Алексея Турбина и дворника Силана в «Горячем сердце», Петрушку в «Горе от ума» и выживающего из ума князя из «Дядюшкина сна» Достоевского. Он играет большевика Пеклеванова из «Бронепоезда» Всеволода Иванова и чеховского Тузенбаха, прокурора Скроботова из горьковских «Врагов» и инженера Забелина из «Кремлевских курантов». Такой разнообразной сценической галереей могут гордиться немногие артисты. В этих портретах, столь непохожих друг на друга, ни один штрих не оскорблял нас своей недостоверностью. Хмелев никогда не играл приблизительно, у него всегда был точный и законченный актерский рисунок. И вместе с тем в этих образах всегда есть свое, хмелевское, всегда есть своя тема, без которой и невозможно творчество истинного художника.

Он знал одной лишь думы власть... Хмелев вспоминал недавно о том, как он, будучи еще учеником студии, читал своему педагогу Леонидову монолог штаб-капитана Снегирева из «Братьев Карамазовых». Леонидов прослушал монолог и сказал после продолжительного молчания: «Все это очень хорошо, молодой человек, а где же ваша мысль?»

Леонид Миронович Леонидов — большой актер-мыслитель — был отличным учителем, а молодой человек Хмелев оказался восприимчивым учеником. Он запомнил слова учителя и сделал их девизом своей жизни. В каждой хмелевской работе мы прежде всего видели ясную и последовательную мысль. У него не бы-

ло ни одной работы с неясностью, противоречивостью замысла.

Артисты часто рассказывают о том, как они работают над ролью. Я думаю, что Хмелев не мог бы провести беседу на тему — моя работа над ролью. Он не говорил о ролях, но он мог многое рассказать о жизни Фирса, о мыслях царя Федора, о горестной судьбе Тузенбаха.

Хмелев не играл роли, он воплощал характеры. Его никогда не привлекали выигрышные роли, чем соблазняются и многие большие артисты. Его всегда манили сложные характеры. Приходя в театр, мы забывали об игре Хмелева, мы знакомились с людьми — добродушными и злыми, черствыми и сентиментальными, веселыми и мрачными. Мы забывали об артисте, о режиссере, о писателе, мы видели живого Кареннина или Тузенбаха.

Глубокая и оригинальная мысль всегда сочеталась в этих творениях с изяществом формы. Лев Толстой описал Кареннина, эту «злую машину», с неумолимой точностью. Хмелев дал этому образу особую пластическую выразительность. Можно смотреть в этой роли многих артистов, можно перечитывать толстовский роман. Но у тех счастливых, которым удалось видеть Хмелева-Кареннина, всегда будет стоять перед глазами скульптурный образ человека с размеренной походкой и скрипучим голосом, прикрывающего выдержкой и самоволаством слабость и ничтожество.

Это был большой артист, имя которого принадлежит не только МХАТу, но и всему русскому театру, славы его истории. Но значение Хмелева для нашего театра не только в его выдающихся актерских достижениях.

Преданный идеям своих великих учителей — Станиславского и Немировича-Данченко, — Хмелев никогда не сходил с дороги сценического реализма. Неслучайно, после смерти Немировича-Данченко, именно Хмелев стал руководителем Художественного театра. Хмелев взялся за это дело с полным сознанием важности возложенной на него задачи, и он оправдал большие надежды.

Будучи еще совсем молодым человеком, Хмелев начал заниматься воспитанием актеров. Он имел право на это не только потому, что стал уже известным актером. У него сложились твердые художественные убеждения. У него была своя вера, от которой он не отступил ни разу. Из студии Хмелева вырастает сейчас молодая коллектив, один из интереснейших в Москве — театр им. Ермоловой.

Жизнь Хмелева прошла в каждодневном труде и в неутомимых исканиях. И молодые его ученики и опытные мастера Художественного театра всегда говорили о нем с уважением и тем трепетом, который всегда сопутствует выдающемуся мастеру.

Он был так не похож на тех артистов, которые, поднявшись на вершину, задерживаются на ней, а потом начинают спускаться вниз. Он взбирался все выше и выше. Когда он достигал вершины — перед ним открывались новые, еще более прекрасные и величественные. Он умер в пути...

Константин Дмитриевич Ушинский — основоположник русской педагогики и педагогической психологии — был неутомимым поборником подлинного народного просвещения и народности в воспитании. Он боролся за широкое не только общее, но и специальное педагогическое образование, осуществил реформу женского образования и был автором непревзойденных учебников для начальной школы и замечательных руководств для учителей.

Блестяще начав 22-летним молодым человеком профессорскую деятельность в Ярославском юридическом лицее, Ушинский за протест против требования Министерства заранее представлять подробные конспекты лекций был вынужден вскоре оставить профессорскую кафедру. Он переезжает в Петербург.

Получив в 1855 году работу преподавателя русского языка, а потом и инспектора в Гатчинском сиротском институте, Ушинский усиленно изучает мировую педагогическую литературу и в 1859 г. переходит на работу инспектора классов в Смольный институт.

Враг компромиссов, человек прямой, Ушинский в первых своих педагогических работах «О пользе педагогической литературы», «О народности в общественном воспитании», «О нравственном элементе в русском воспитании» гневно обличал пороки современного ему воспитания в обществе, в семье и в школе.

Несмотря на общепризнанный авторитет, ему пришлось покинуть сначала пост редактора «Журнала министерства народного просвещения», который он за один только год (1860—61) сделал центром реформаторской педагогической мысли, а потом — в 1862 г. из-за доноса реакционных учителей оставить и всякую практическую педагогическую деятельность в Смольном институте и уехать на 5 лет за границу. Там Ушинский создает свою блестящую книгу для начального обучения «Родное слово», пишет замечательные очерки о состоянии народного образования и школы в зарубежных странах («Педагогическая поездка по Швейцарии»), там он готовит свой капитальный труд — плод всей его жизни — «Человек, как предмет воспитания».

В 1867 г. Ушинский снова в Петербурге.

Передовое учительство, передовая общественная педагогическая мысль видят в нем признанного руководителя подлинно демократической педагогики. Но борьба с реакцией надломилась: силы Ушинского, в 21 декабря 1870 г. его не стало.

Центральным звеном педагогической системы Ушинского является принцип народности. Только сам народ может строить свою систему воспитания. «Если есть что-нибудь у нас наименее случайное, то это именно народ и его направление... Не забудем, что если мы много хотим учить простой народ, то есть многое, чему мы сами от него научились. Не забудем, что этот народ создал тот глубокий язык, глубины которого мы до сих пор еще не могли измерить, что этот простой народ создал ту поэзию, которая спасла нас от забавного детского лепета, на котором мы подражали иностранцам; что этот простой народ, наконец, создал и эту великую державу,

К. Д. УШИНСКИЙ

Л. Раскин

(К 75-летию со дня смерти)

под сенью которой мы живем. Кто хорошо знаком с историей России, тот ни на минуту не задумается вручить народное образование самому же народу».

Любовь к родине — основа воспитания. «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными... наклонностями».

С неповторимой силой страсти выступал Ушинский за признание великого значения в воспитании родного слова, родного языка, создателем и носителем которого является народ.

Книги Ушинского для начальной школы — замечательный образец того, как можно использовать народные сказки, песни, пословицы для того, чтобы воспитать у детей любовь к своему родному языку, к своему народу, к своему отечеству.

Основной задачей школы и семьи является воспитание у детей убеждений и самостоятельности мысли, развитие в них способностей, разумного взгляда на окружающую природу и общественные отношения, подготовка их к самостоятельной разумной деятельности. Успешно разрешить эту задачу может только такой воспитатель, который сам является высоким нравственным образцом для воспитанников. Вот почему Ушинский неустанно призывает учителей и воспитателей много и упорно работать над формированием своего собственного характера.

Важнейшей силой формирующейся личности человека является труд. Ушинский разоблачает присущее аристократическому обществу стремление воспитывать детей в праздности, устранять их от трудностей труда, физического и умственного. Он требует, чтобы воспитание загло в ребенке жажда серьезного труда, без которого жизнь его не может быть счастливой. В своей известной статье «Труд в его психическом и воспитательном значении» Ушинский писал: «Потребность труда... врождена человеку; но она удивительно как способна разгораться или тухнуть, смотря по обстоятельствам и в особенности сообразно тем влияниям, которые окружают человека в детстве и в юности».

Это было написано в 1860 году, но как злободневно звучат эти слова и сейчас для нашей школы и семьи.

Признавая практическое воспитание искусством, Ушинский считал, что оно даст необходимый эффект только в том случае, когда будет опираться на педагогическую теорию. Ушинский справедливо называет знахарями тех, кто недооценивает значение теории в воспитании. «Одна педагогическая практика без теории то же, что знахарство в медицине». Вот почему он требовал, чтобы не только учителя, но и родители изучали сложное дело воспитания.

Чтобы успешно воспитывать, нужно прежде всего знать своих воспитанников во всех их проявлениях, знать не только их поступки, но и мотивы этих поступков.

«Воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии, со всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими духовными требованиями. Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, среди народа, среди человечества и наедине со своею совестью; во всех возрастах, во всех классах, во всех положениях, в радости и горе, в величии и унижении, в избытке сил и в болезни, среди неограниченных надежд и на одре смерти, когда слово человеческого утешения уже бесцельно. Он должен знать побудительные причины самых грязных и самых высоких деяний, историю зарождения преступных и великих мыслей, историю развития всякой страсти и всякого характера. Тогда только будет он в состоянии почерпнуть в самой природе человека средства воспитательного влияния, — а средства эти громадны».

Это, поистине, программа не только для учителей и родителей, но и для всех, кто по своей деятельности в той или иной мере является «инженером человеческих душ».

Признавая, что педагогика должна строиться на основе всех наук о человеке, Ушинский особенно детально разрабатывал вопросы психологии в их отношении к педагогике.

Ушинский не был, естественно, и не мог в свое время быть последовательным материалистом в психологии, но в его учении отчетливо проступают материалистические черты. Он писал о том, как «много положительного внесла и продолжает вносить материалистическая философия в науку и мышление; искусство воспитания в особенности чрезвычайно много обязано именно материалистическому направлению изысканий, преобладающему в последнее время».

Особое значение в системе школьного и семейного воспитания придавал Ушинский воспитанию у детей эстетических чувствований, вкусов и оценок. Источники эстетического чувства он видел в природе, в изящной литературе, в искусстве.

75 лет прошло со дня смерти Ушинского, но только сейчас наступило время, когда можно реализовать его прогрессивные педагогические идеи, ибо только в советском обществе школа есть подлинно народная школа, ибо только советское государство может обеспечить подлинный расцвет народного воспитания в обществе, в школе и в семье. Он поистине народный русский педагог. Он для русской педагогики является тем же, чем Ломоносов для русской науки, Пушкин — для поэзии, Глинка — для музыки, Федотов — для живописи, Островский — для драматургии, Щепкин — для русского театра.

Советская педагогическая наука, советская школа и вся советская общественность никогда не забудут славного сына русского народа, великого русского педагога К. Д. Ушинского.

ЗАБАВНАЯ СТАРИНА

Про одну прекрасную мельничиху в окрестностях Парижа Вольтер говорил, что вздохов ее обожателей вполне достаточно, чтобы вертеть крылья отцовской мельницы.



Генрих Гейне сказал про одну замечательную певичку своего времени, отличавшуюся необычайной толщиной:

— Это слон, проглотивший соловья.



В парижском кабаке времен Коммуны за бутылкой вина беседуют двое рабочих.

— Я не совсем понимаю разницу: что такое «прискорбный случай» и что такое «несчастье»?

— Если месяц Тьер, проходя по мосту, упадет в Сену, это будет прискорбный случай. Если его при этом успеют вытащить, это будет несчастье.



Английский писатель XVIII в. Александр Поп, прославленный в свое время переводчик «Иллиады», был автором блестящим и поверхностным, крайне чувствительным ко всеобщему поклонению и громкой славе. Легкий характер позволял ему сохранять доброе расположение духа среди всех волнений и неприятностей литературной карьеры. Но порой и ему случалось высказывать горькие истины. Так, он заметил одному

из друзей: «Если небо наделило вас талантом, следует просить себе еще и разума, который помог бы воспользоваться этим даром».

Ему же принадлежит и следующее изречение: «Здравый смысл и ум сотворены, как муж и жена, для взаимной помощи. Но так же, как муж и жена, они пребывают в постоянном споре».



Россини, отличавшийся тучностью, пробираясь как-то к своему месту в переполненном дилижансе. Какая-то дама, которой показалось, что ее бесцеремонно толкнули, сделала ему сердитое замечание. Россини любезно извинился. Но дама не унималась. Войдя во вкус обличительного красноречия, она, треща, как сорока, сыпала на голову композитора одно обвинение за другим. Россини благодушно молчал. И только когда дама на минуту остановилась, чтобы перевести дух, — сказал ей, как можно вежливее, слегка приподняв шляпу:

— Осмелюсь спросить, сеньора, ваш уважаемый муж никогда не называл вас душой?

Общий хохот пассажиров заставил сварливую даму замолчать. Во весь дальнейший путь она не произносила ни слова.



Когда Александру Дюма-сыну кто-то сообщил, что его прославленный отец с наивным восторгом рассказывает всюду об успехе своих «Трех мукшкетеров», не устая восхвалять собственный

талант, он заметил с иронической улыбкой:

— Надо извинить старика. Он, как воздушный шар, может подняться в воздух, только чем-нибудь наполнив свою пустоту. Когда он едет по улицам Парижа в новой карете, ему хочется самому встать на запятки, чтобы все видели, какой у него замечательный лакей.

Дюма-отец не оставался в долгу. Однажды он заметил одному из своих приятелей:

— Я только что провел два часа в жарком споре со своим сыном. Мы обменялись с ним ценными мыслями, и в результате я уйду совершенно пустым.

Это не мешало отцу оставаться в самых приятельских отношениях с сыном. На премьере «Дамы с камелиями» он аплодировал громче и дольше всех.

— Как, месяц Дюма! — удивился кто-то из соседей. — Вы аплодируете этой пьесе так горячо, словно вы сами ее автор!

— Я автор автора, — скромно ответил Дюма.



Нинон Ланкло, одна из умнейших женщин в литературных кругах Парижа XVIII в., так объясняла природу человеческого тщеславия:

— Знатные люди всегда гордятся достоинствами своих предков, потому что сами этих достоинств не имеют. Люди, наделенные умом, сами приписывают себе достоинства, потому что считают себя единственными их обладателями. Те же, кого мы вправе называть мудрецами, никому ни слова не говорят о собственных достоинствах, ибо им ясно, что о них скажут другие.

Дотошный книжочей

Всеволод Рождественский

Ладога

ОГИЗ-ГИХЛ 1945 г.



Всеволод Рождественский собрал свои стихи военных лет. Для поэта со своей, сложившейся и устойчивой литературной манерой, с привычками и навыками многолетней поэтической работы встреча с войной, испытание войной — веревная проверка на прочность, на «разрыв». Суровая правда войны потребовала от наших поэтов новых слов, новых ритмов, чтобы выразить поэтически-правдиво всю сложность чувств и мыслей народа, ведущего войну не на жизнь, а на смерть.

Всеволоду Рождественскому при этом нужно было преодолеть инерцию собственного творчества, взамен привычных точек зрения, найти какие-то новые углы зрения, новые пути от правды жизни к истине искусства.

Для Рождественского эта смена была,

Новые книги

быть может, всего трудней, в силу своеобразия направления, в котором развивалось его творчество.

В самом деле, в стихах Рождественского читатель не найдет ни масштабности и сдержанной иронии Тихонова, ни лирической захлебывающейся скороговорки Пастернака, ни трагической напряженности душевного мира героини Анны Ахматовой.

Рождественский, — и не он один, конечно, — был представителем того направления в нашей поэзии 10—20-х годов, которое взамен смутных, трагически-пророческих прозрений Блока и Белого, демонстративно утверждало прочность мира, вернее, прочность и неизбежность его вещно-материальной оболочки.

В «Золотом веретене» — первом значительном сборнике Рождественского

(1921 г.) — темы и образы стихов до такой степени далеки от хода современной истории, от всемирно-исторических событий 1917—1920 годов, — а такзы даты под стихами, — что самая эта отчужденность от времени воспринимается как нарочитая и преднамеренная.

В «Золотом веретене», да и в последующих сборниках 20-х годов, основная жизнь для поэта — это неизбежность, устойчивость, статика. Как будто наперекор духу времени эпохи великих переворотов Рождественский хотел найти нечто вечное и неизбежное в мелочах быта.

Очень скоро стало ясно, что та внешняя устойчивость вещно-материального быта, которая так мила Рождественскому и его друзьям-поэтам, есть только иллюзия и самообман.

Многим памятное стихотворение Рождественского «Манон Леско» стилизует образ Манон Леско под картину Буше, лишает пленительный, трепещущий жизнью образ Манон внутренней движущейся динамики страстей; действительность в нем воспринимается поэтом

только сквозь призму чужого искусства, только образы искусства становятся теми стихами Рождественского.

Измена жизни не остается безнаказанной. Горизонт поэта невероятно сужается.

Вот почему так труден и сложен был путь Всеволода Рождественского к его стихам последних лет, где поэту удалось, наконец, преодолеть инерцию изжившей себя литературной манеры.

И здесь, в стихах «Ладога», Рождественский не забывает, что он пришел на войну не как рядовой солдат, а как боец, вооруженный еще и оружием поэтического слова, и в «Ладоге» он не боится говорить об искусстве, о поэзии; но сейчас это — народная песня, вседневная спутница народа и в горе и в радости, песня, говорящая «снова о самом родном».

Что изменилось в поэзии Рождественского? Поэт не пошел по ложному пути отвлеченно-риторических деклараций, он пошел по самой трудной дороге внутренней органической перестройки собственной поэтической манеры.

Поэт не отказался от точного видения мира, от вещественной конкретности своих прежних стихов:

Не в стертых буквах имени простого
Встает лицо скуластое слегка,
И серый взгляд, светящийся сурово,
Как русская, равнинная река

(«Моица бойца»)

Более того, он не отказался и от свойственной ему любви к ярким краскам и смелым их сочетаниям. Таково стихотворение «Цветок Таджикистана», в котором контраст суровой северной природы и красочного искусства Средней Азии оттенен богатством смелых поэтических образов:

И забыть никак я не могу
Золотой тюльпан Таджикистана,
Выросший на мартовском снегу.

Эти черты старой — для Рождественского — поэтической манеры служат ему теперь новую службу.

Точность поэтического зренья, вещественность и определенность видимого мира в стихах «Ладога» приобретает новый смысл. Поэту удалось привести в стихи дыхание своего времени.

Этим воздухом современной истории дышат все лучшие стихи «Ладога»: «Тишина», «Могла бойца», «Цветок Таджикистана», «Сердце, неумный бенец» и другие.

По-новому разрабатывает Рождественский и темы, казалось, автоматически гнущие к старой, уже преодоленной поэтом манере, — в этом смысле показателен «Старый портрет». В былые времена стихотворение с таким названием, несомненно, было бы стилизацией.

Теперь «Старый портрет» — портрет матери в молодости, как выясняется в заключительных строках, — становится поводом для создания стихотворения, насквозь проникнутого ощущением движения времени, пронизанного глубоким чувством истории, без которого немислим поэт-современник Великой Отечественной войны.

И самое название нового сборника Всеволода Рождественского — «Ладога» — символически выражает собою выход из «Гранитного сада» в широкий мир истории и современности — «Над Ладогой вольной, где солнце смеется...»

И. Серман.



Рисунки
Бориса ЛЕО



ЕЛЕНА КАТЕРЛИ

Мой Некрасов

Некрасов проснулся с отрывкой и поздно.

Мучила изжога и царская цензура.

Всю ночь снились моченые яблоки и цензор Никитенко.

Ныло под ложечкой. На душе было кисло. Икалось с вечера.

— Что мне сказать мужику!? — мрачно подумал Николай Алексеевич, затягиваясь дорогой, душистой папиросой.

Мучила совесть и помещики-крепостники.

Некрасов вяло сунул изможденные желтые пятки в стоптанные туфли и поплелся к окну.

Мутило от сознания бессилия перед царем и его приспешниками и от выпитого накануне французского коньяка.

Некрасов, увидав в окно парадный подъезд и толпу мужиков, вздохнул, желтой рукой обмакнул вставочку в чернила и, нехотя позевывая и почесываясь, написал: «Размышления у парадного подъезда».

Захотелось к Тургеневу, но он был за границей.

Некрасов лег на диван и повернулся помятым лицом к облезлой стене.

Уснуť он не мог.

Давило крепостное право.

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

Голубой маляр

Очеркоповесть

Когда Валя, в первый раз после ревакации, вышла во двор, ей все показалось чужим и не-симпатичным. И грубая фановая труба, и водостоки, и лицо управхоза Матрены Сидоровны...

Но через несколько дней, когда Валя спускалась из своей отремонтированной за счет домоуправления комнаты на тот же двор, ей уже весело заулыбалась фановая труба, приветливо зажурчали водостоки и на помолодевшем лице управхоза забродила чудесная улыбка. Сразу стало уютно, радостно. Захотелось жить, любить, работать, ездить в троллейбусе, рвать цветы, пить газированную воду с двойным сиропом, гулять в ЦПКиО и покупать на углах эскимо.

Сначала Вале было непривычно и неуютно висеть в люльке и мазать кистью стену, но она вскоре привыкла. Было уже радостно, уютно, тепло, светло, отрадно, чудесно висеть в люльке и мазать кистью стену.

Было хорошо приходиться утром и уходить вечером с работы, мыть руки мылом ТЭЖЕ, чистить зубы зубным порошком, варить картошку, глядеть на звездное небо, смот-

реться в зеркало и думать о том, что ей пошел двадцать второй год, что вот она теперь маляр и что кругом — золотые люди и она — золотая, а за окном — Ленинград, и что домоуправление вставило в ее комнате три стекла и починило водопровод, что в квартире безпробойно работает канализация и что где-то далеко, внизу на улице весело перезваниваются трамваи и перекликаются автобусы, троллейбусы и грузовики.

Утром Валя пришла на работу в свежееклеенную комнату. Розовые ноздри молодой женщины жадно вбирали в себя аромат крепкого клеястера. А день был голубой, приятно было думать, что она стоит в голубом окне и глядит на голубой город внизу и что она вся



соткана из голубых нитей и овладела второй профессией, и что ее вставили в повесть и она живет в ней второй голубой жизнью, и читатель голубеет рядом с ней...

А. Флит.



*Марсово поле
Автолитография А. Каплана*

ПАМЯТНИКИ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА

Самоотверженная работа ленинградских строителей и всех граждан стирает с нашего города последние следы разрушений, причиненных вражескими бомбардировками и обстрелами, и недалек тот час, когда Ленинград снова предстанет перед нами во всей своей красе и величии. Естественно, что параллельно с восстановительным строительством города перед нами стоит и другая большая задача: увековечить героическую эпопею Ленинграда созданием памятников, отражающих как отдельные ее этапы, так и фиксирующих места происшедших событий.

Помимо организации выставки «Героическая оборона Ленинграда», в настоящее время осуществлены в натуре первые памятники обороны на местах боев и в тех пунктах переднего края обороны, которого не смогли прорвать немцы.

Выстроенные памятники лаконичны по своим формам, строгие и монументальны и этими своими качествами вполне отвечают большой героической теме.

Вот памятник в Ульяновке у города Урицка — прямоугольная каменная стела с изображением на ней в виде барельефа ордена Отечественной войны и доски с лаконичной, но многоговорящей ленинградцам надписью: «Здесь в жестоких сентябрьских боях 1941 года захлебнулись собственной кровью фашистские полчища, остановленные доблестными ленинградцами».

Памятник в Усть-Тосно, в виде обелиска, сооружен на месте высадки нашего десанта. Аналогичный обелиск воздвигнут на месте тяжелых боев в Русско-Высоцком.

В Ропше, на месте соединения наших ударных танковых армий, окруживших группировку немцев, которая обстреливала Ленинград, возвышается танк, поставленный на уступчатый постамент.

В Ям-Ижоре сооружен памятник в виде трапециoidalной стелы с барельефом, изображающим орден Отечественной войны, и памятной доской — в честь тяжелых боев за Ленинград на этом историческом рубеже нашего города.

Памятники эти сооружены по идее и под руководством Ленинградского Обкома и Горкома ВКП(б), Военного совета и Политуправления Ленфронта, при непосредственном участии маршала Советского Союза Говорова.

Авторы этих памятников — ленинградские архитекторы, питомцы Всероссийской Академии художеств — лейтенант Зеленый Я. М., старший лейтенант Иогансен К. А. и младший лейтенант Петров В. А., с начала войны до 1943 г. они были на различных участках Ленинградского фронта, затем были откомандированы в распоряжение Ленинградского Дома Красной Армии, на работу по организации и развертыванию выставки «Героическая оборона Ленинграда». Здесь, собственно, и началась совместная творческая работа Петрова и Иогансена над проектами первых четырех вышеописанных памятников. Пятый памятник в Ям-Ижоре сооружен по проекту архитектора Я. М. Зеленого.

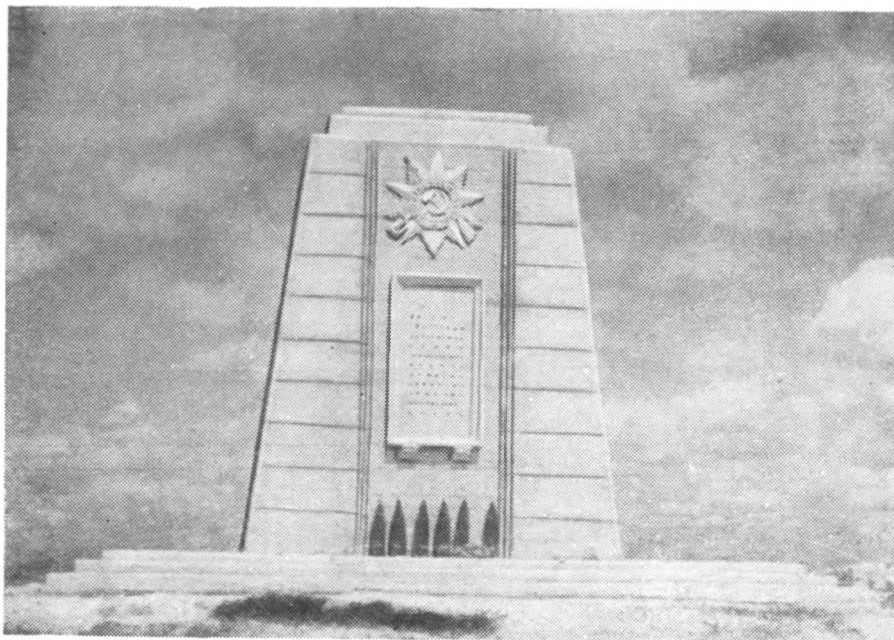
В память обороны Ленинграда в годы

В. Твелкмейер

Великой Отечественной войны мы должны создать памятники, которые по силе своего эмоционального воздействия, художественного образа и идейного содержания не только не уступят старым, но будут значительнее и величественнее их. Поэтому к этой задаче нужно привлечь широкий круг работников искусств всех профессий, включая и мастеров кисти, ибо задача не может быть ограничена лишь архитектурными и скульп-

турными памятниками, а должна быть решена во всем многообразии, включая живописные панорамы, мозаику, фрески, декоративные росписи. Этим самым мы продолжим замечательные традиции нашего русского национального искусства, лучшие образцы которого построены на принципе содружества трех искусств: живописи, архитектуры и скульптуры.

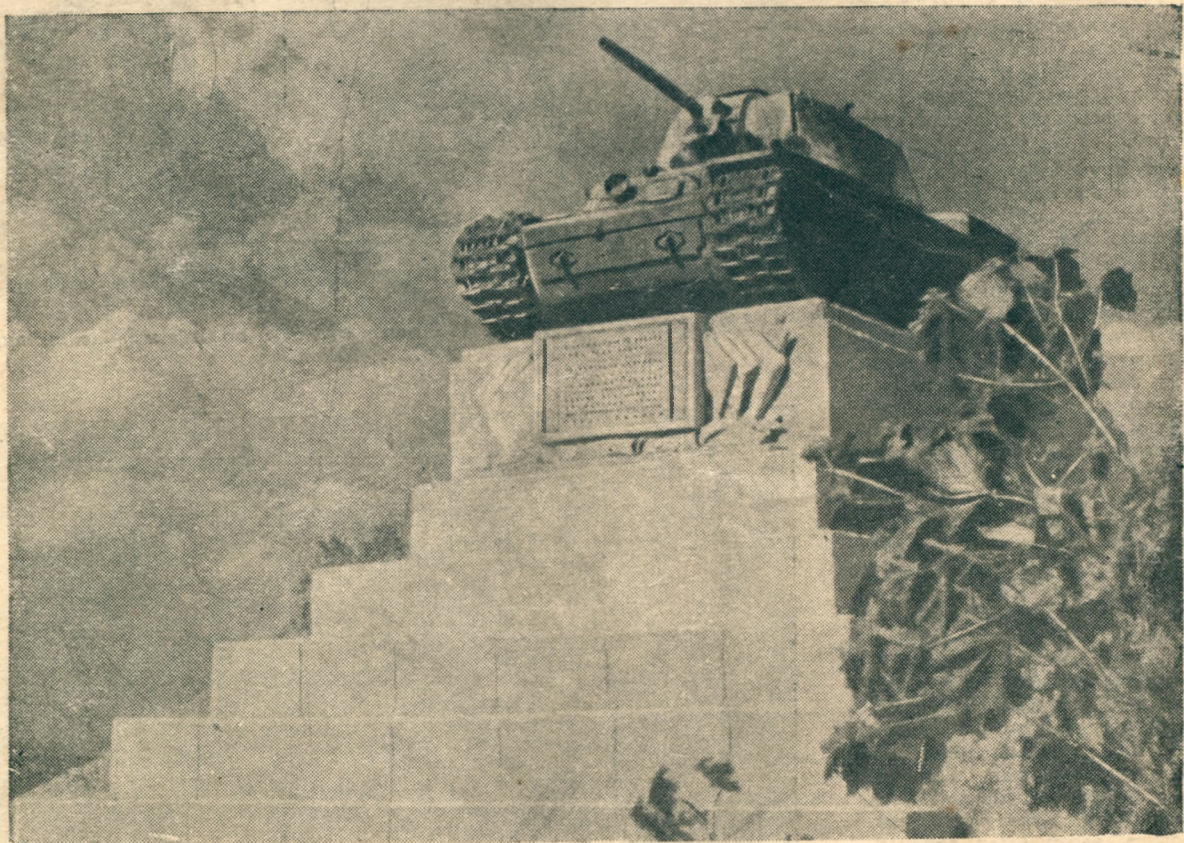
Все проекты осуществлены в натуре в очень короткий срок, в течение двух месяцев, под непосредственным руководством авторов.



Монумент в Ям-Ижоре. Построен в 1944 г. по проекту лейтенанта Я. Зеленого



Монумент в Ульяновке. Построен в 1944 г. по проекту архитекторов К. Иогансена и В. Петрова



1. Обелиск в Усть-Тосно. Построен в 1944 году. 2. Монумент в Ропше на месте соединения танковых частей Красной Армии Ораниенбаумской и Пулковской групп войск, окруживших немецко-фашистские войска в районе Петергофа, Стрельны, Урицка. Памятники построены по проекту архитекторов К. Йогансена и В. Петрова.